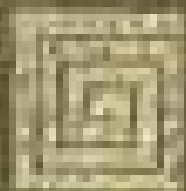


АЙН РЭНД

---

АТЛААНТ  
РАСПРАВИО ПОЕЧИ



«Атлант расправил плечи» – центральное произведение русской писательницы зарубежья Айн Рэнд, переведенное на множество языков и оказавшее огромное влияние на умы нескольких поколений читателей. Своеобразно сочетая фантастику и реализм, утопию и антиутопию, романтическую героину и испепеляющий гротеск, автор очень по-новому ставит извечные не только в русской литературе «проклятые вопросы» и предлагает свои варианты ответов – острые, парадоксальные, во многом спорные.

Перевод с английского Д. В. Костыгина.

...«Что за чепуха?! – возмутится читатель. – Какой-то Голт, Атлант... Да и Рэнд эта – откуда взялась?» Когда три года назад я впервые услышал это имя, то подумал точно так же. Тем более что услышал его в невероятном контексте: Библиотека Конгресса США провела обширный социологический опрос, пытаясь определить, какая книга оказывает самое глубокое влияние на американцев. Первое место, разумеется, заняла Библия, а вот второе... «Атлант расправил плечи»! Глазам своим не поверил. Что же это делается?! Вроде бы дипломированный филолог, да чего уж там – кандидат наук, и специализация подходящая – современная романная поэтика, а ни о какой Айн Рэнд за сорок лет жизни слыхом не слыхивал. Что за наваждение?...

Who is John Galt? Сергей Голубицкий. Опубликовано в журнале «Бизнес-журнал» №16 от 17 августа 2004 года.

---

---

**Айн Рэнд**

**Атлант расправил плечи.**

**Книга 1**

*Как нам реализовать мозги, или шаг вперед – два вперед  
(несколько слов об очень современной книге)*

Дорогой читатель, такая уж нам выпала доля – жить в эпоху перемен. При этом каждый понимает, что это перемены не только в наших судьбах, в истории нашего Отечества, но и в сознании. Хотим мы того или нет, но для большинства из нас переориентация сознания становится залогом выживания. И вновь перед каждым встают «проклятые вопросы», так мучившие классиков русской литературы: «Что делать?», «Кто виноват?», «Тварь ли я ничтожная или...»

У нас есть все основания считать совокупность творчества Айн Рэнд, автора романа «Атлант расправил плечи», одной из самых колоссальных (как по объему, так и по масштабам воздействия на умы) и нетривиальных попыток в нашем веке дать всеобъемлющий ответ на эти столь актуальные ныне вопросы. Несмотря на то, что пять лет мы стараемся по мере сил знакомить читателя с произведениями этой исключительно самобытной писательницы (ее первый роман «Мы – живые» опубликован на русском языке в 1993 году, а принесший ей мировую известность «Источник» в 1995-м), имя ее почти неизвестно в нашей стране. А ведь Айн Рэнд родом из России, из Санкт-Петербурга. Дочери питерского аптекаря средней руки, в ранней юности вкусившей прелестей революционной и послереволюционной российской жизни, удалось, несмотря на сомнительное социальное происхождение и антибольшевистские взгляды, закончить ставший уже Ленинградским университет и поработать экскурсоводом в Петропавловской крепости. Цельная и целеустремленная, абсолютно бескомпромиссная и склонная к нравственному максимализму, она оказалась парадоксально близка к плакатному типу комиссара, растиражированному соцреализмом. Однако взгляды и идеалы ее были противоположны коммунистическим. При таком сочетании она была в Советской России не жилец, и прекрасно это понимала. В 1926 году ей чудом удалось вырваться сначала в Латвию, а затем и в США, где она обрела вторую родину и долгую писательскую (и не только писательскую) славу.

«Атлант расправил плечи» – самый монументальный по замыслу и объему роман Айн Рэнд, переведенный на десятки языков и опубликованный десятками миллионов экземпляров. Место действия – Америка. Но это Америка условная: элементарный комфорт постепенно становится роскошью для немногих избранных; множатся и разрастаются кризисные зоны, где люди умирают с голоду, в других местах гниет богатейший урожай, потому что его не вывезти; уцелевшие и вновь народившиеся предприниматели обогащаются не за счет производства, а благодаря связям, позволяющим получить государственные субсидии и льготы; последние талантливые и умные люди исчезают неизвестно куда; а правительство борется с этими «временными трудностями» учреждением новых комитетов и комиссий с неопределенными функциями и неограниченной властью, изданием бредовых указов, исполнения которых добывается подкупом, шантажом, а то и прямым насилием над теми, кто еще способен что-то производить...

Антиутопия? Да, но антиутопия особого рода. Рэнд изображает мир, в котором человек творящий (будь то инженер, банкир, философ или плотник), разум и талант которого служил единственным источником всех известных человечеству благ, материальных и духовных, поставлен на грань полного истребления и вынужден вступить в борьбу с теми, кого благодетельствовал на протяжении многих веков. Атланты – одни раньше, другие позже –

отказываются держать мир на своих плечах.

Айн Рэнд ставит жесткие вопросы и с такой же жесткостью дает свои варианты ответов. Возможно, именно страстная бескомпромиссность, пафос учительства, для американской литературы нехарактерные, но очень хорошо знакомые нам по литературе русской, и выделили ее из ряда современных романистов и философов. Большинство ее героев на первый взгляд вычерчены графично, почти в черно-белых тонах. Белым – творцы, герои; черным – паразиты, безликие ничтожества, черпающие силу в круговой поруке, в манипуляции сознанием, в мифах об изначальной греховности человека и его ничтожности по сравнению с высшей силой, будь то всемогущий Бог или столь же всемогущее государство, в морали жертвенности, самоуничтожения, в возвеличивании страдания и, наконец, в насилии над всеми, кто выбивается из ряда. А что случится, если немногочисленные в каждом, даже самом демократическом обществе творцы вдруг однажды забастуют?

Что делать, как создать новый, истинно человеческий мир, в котором хотелось бы жить каждой неповторимой личности? Этот вопрос и ставит Айн Рэнд. Что мы должны уяснить, чтобы почувствовать себя атлантами? Что нельзя жить заемной жизнью, заемными ценностями. Что можно и нужно изменять себя, но никогда не изменять себе. Что невозможно жить ради других или требовать, чтобы другие жили ради тебя. Что человек создан для счастья, но нельзя быть счастливым, ни руководствуясь чужими представлениями о счастье, ни за счет несчастья других, ни за счет незаслуженных благ. Нужно отвечать за свои действия и их последствия. Нельзя противопоставлять мораль и жизнь, духовное и материальное. Хваленый альтруизм в конечном счете неизменно оборачивается орудием порабощения человека человеком и только множит насилие и страдания. Но недостаточно принять эти принципы, надо жить в соответствии с ними, а это нелегко. Может быть, у Вас возникает желание резко осудить эгоистичную, безбожную, антигуманную позицию автора и ее «нормативных» героев?

Что ж, реакция вполне понятная. Однако стоит задуматься, в чем истоки такой реакции. Уж не в том ли, что страшно выйти из-под опеки Отца (который то ли на небе, то ли в Кремле, то ли по соседству в Мавзолее), наконец признать себя взрослым и самостоятельным, принять на себя ответственность за самые важные жизненные решения? Очень хочется поспорить с философом Айн Рэнд, русской родоначальницей американского объективизма, но не так-то просто опровергнуть ее впечатляющую логику. Так как же творить мир, в котором не противно жить? Думайте. Сами. Невзирая на авторитеты.

Будем очень благодарны за Ваше мнение о книге и о поставленных в ней проблемах и за отзыв – даже критический.

*Д. В. Костыгин*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ

### Глава 1. Тема

– Кто такой Джон Галт?

Вопрос бродяги прозвучал вяло и невыразительно. В сгущавшихся сумерках было не рассмотреть его лица, но вот тусклые лучи заходящего солнца, долетевшие из глубины улицы, осветили смотревшие прямо на Эдди Виллерса безнадежно-насмешливые глаза – будто вопрос был задан не ему лично, а тому необъяснимому беспокойству, что затаилось в его душе.

– С чего это ты вдруг спросил? – Голос Эдди Виллерса прозвучал довольно неприязненно.

Бродяга стоял, прислонившись к дверному косяку, в осколке стекла за его спиной отражалось желтое, отливающее металлом небо.

– А почему это вас беспокоит? – спросил он.

– Да ничуть, – огрызнулся Эдди Виллерс. – Он поспешно сунул руку в карман. Бродяга остановил его и, попросив десять центов, начал говорить дальше, словно стремясь заполнить один неловкий момент и отдалить приближение другого. В последнее время попрошайничество на улице стало обычным делом, так что внимать каким-то объяснениям было совсем не обязательно, к тому же у Эдди не было никакого желания выслушивать, как именно этот бродяга докатился до такой жизни.

– Вот возьми, купи себе чашку кофе. – Эдди протянул монету в сторону безликой тени.

– Спасибо, сэр, – сказал бродяга равнодушным тоном. Он наклонился вперед, и Эдди рассмотрел изрезанное морщинами, обветренное лицо, на котором застыла печать усталости и циничного безразличия. У бродяги были глаза умного человека.

Эдди Виллерс пошел дальше, пытаясь понять, почему с наступлением сумерек его всегда охватывает какой-то необъяснимый, беспричинный страх. Нет, даже не страх, ему было нечего бояться, просто непреодолимая смутная тревога, беспричинная и необъяснимая. Он давно привык к этому странному чувству, но не мог найти ему объяснения; и все же бродяга говорил с ним так, будто знал, что это чувство не давало ему покоя, будто считал, что оно должно возникать у каждого, более того, будто знал, почему это так.

Эдди Виллерс расправил плечи, пытаясь привести мысли в порядок. «Пора с этим покончить», – подумал он; ему начинала мерещиться всякая чепуха. Неужели это чувство всегда преследовало его? Ему было тридцать два года. Он напряг память, пытаясь вспомнить. Нет, конечно же, не всегда, но он забыл, когда впервые ощутил его. Это чувство возникало внезапно, без всякой причины, но в последнее время значительно чаще, чем когда бы то ни было. «Это все из-за сумерек, – подумал Эдди, – терпеть их не могу».

В сгущавшемся мраке тучи на небе и очертания строений становились едва различимыми, принимая коричневатый оттенок, – так, увядая, блекнут с годами краски на старинных холстах. Длинные потеки грязи, сползавшие с крыш высотных зданий, тянулись вниз по непрочным, покрытым копотью стенам. По стене одного из небоскребов протянулась трещина длиной в десять этажей, похожая на застывшую в момент вспышки молнию. Над крышами в небосвод вклинилось нечто кривое, с зазубренными краями. Это была половина шпиля, расцвеченная алым заревом заката, – со второй половины давно уже облезла позолота.

Этот свет напоминал огромное, смутное опасение чего-то неведомого, исходившего

неизвестно откуда, отблески пожара, но не бушующего, а затухающего, гасить который уже слишком поздно.

«Нет, – думал Эдди Виллерс – город выглядит совершенно нормально, в его облике нет ничего зловещего».

Эдди пошел дальше, напоминая себе, что опаздывает на работу. Он был далеко не в восторге от того, что ему там предстояло, но он должен был это сделать, поэтому решил не тянуть время и ускорил шаг.

Он завернул за угол. Высоко над тротуаром в узком промежутке между темными силуэтами двух зданий, словно в проеме приоткрытой двери, он увидел табло гигантского календаря.

Табло было установлено в прошлом году на крыше одного из домов по распоряжению мэра Нью-Йорка, чтобы жители города могли, подняв голову, сказать, какой сегодня день и месяц, с той же легкостью, как определить, который час, взглянув на часы; и теперь белый прямоугольник возвышался над городом, показывая прохожим месяц и число. В ржавых отблесках заката табло сообщало: второе сентября.

Эдди Виллерс отвернулся. Ему никогда не нравился этот календарь. Он не мог понять, почему при виде его им овладевало странное беспокойство. Это ощущение имело что-то общее с тем чувством тревоги, которое преследовало его; оно было того же свойства.

Ему вдруг показалось, что где-то он слышал фразу, своего рода присказку, которая передавала то, что, как казалось, выражал этот календарь. Но он забыл ее и шел по улице, пытаясь припомнить эти несколько слов, засевших в его сознании, словно образ, лишенный всякого содержания, который он не мог ни наполнить смыслом, ни выбросить из головы. Он оглянулся.

Белый прямоугольник возвышался над крышами домов, глася с непреклонной категоричностью: второе сентября.

Эдди Виллерс перевел взгляд вниз, на улицу, на ручную тележку зеленщика, стоящую у крыльца сложенного из красного кирпича дома. Он увидел пучок золотистой моркови и свежую зелень молодого лука, опрятную белую занавеску, развевающуюся в открытом окне, и лихо заворачивающий за угол автобус. Он с удивлением отметил, что к нему вновь вернулись уверенность и спокойствие, и в то же время внезапно ощутил необъяснимое желание, чтобы все это было каким-то образом защищено, укрыто от нависающего пустого неба.

Он шел по Пятой авеню, не сводя глаз с витрин. Он ничего не собирался покупать, ему просто нравилось рассматривать витрины с товарами – бесчисленными товарами, изготовленными человеком и предназначенными для человека. Он любовался оживленно-процветающей улицей, где, несмотря на поздний час, бурлила жизнь, и лишь немногие закрывшиеся магазины сиротливо смотрели на улицу темно– пустыми витринами.

Эдди не знал, почему он вдруг вспомнил о дубе. Вокруг не было ничего, что могло бы вызвать это воспоминание. Но в его памяти всплыли и дуб, и дни летних каникул, проведенные в поместье мистера Таггарта. С детьми Таггартов Эдди провел большую часть своего детства, а сейчас работал на них, как его отец и дед работали в свое время на их отца и деда.

Огромный дуб рос на холме у Гудзона в укромном уголке поместья Таггартов. Эдди Виллерс, которому тогда было семь лет, любил убежать, чтобы взглянуть на него.

Дуб рос на этом месте уже несколько столетий, и Эдди думал, что он будет стоять здесь вечно. Глубоко вросшие в землю корни сжимали холм мертвой хваткой, и Эдди казалось, что если великан схватит дуб за верхушку и дернет что есть силы, то не сможет вырвать его с корнем, а лишь сорвет с места холм, а с ним и всю землю, и она повиснет на корнях дерева, словно шарик на веревочке. Стоя у этого дуба, он чувствовал себя в полной безопасности; в его представлении это было что-то неизменное, чему ничто не грозило. Дуб был для него

величайшим символом силы.

Однажды ночью в дуб ударила молния. Эдди увидел его на следующее утро. Дуб лежал на земле расколотый пополам, и при виде его изуродованного ствола Эдди показалось, что он смотрит на вход в огромный темный тоннель. Сердцевина дуба давно сгнила, превратившись в мелкую серую труху, которая разлеталась при малейшем дуновении ветра. Живительная сила покинула тело дерева, и то, что от него осталось, само по себе существовать уже не могло.

Спустя много лет Эдди узнал, что детей нужно всячески оберегать от потрясений, что они должны как можно позже узнать, что такое смерть, боль и страх. Но его душу обожгло нечто другое: он пережил свое первое потрясение, когда стоял неподвижно, глядя на черную дыру, зиявшую в стволе сваленного молнией дерева. Это был страшный обман, еще более ужасный оттого, что Эдди не мог понять, в чем он заключался. Он знал, что обманули не его и не его веру, а что-то другое, но не понимал, что именно.

Он постоял рядом с дубом, не проронив ни слова, и вернулся в дом. Он никогда никому об этом не рассказывал – ни в тот день, ни позже.

Эдди с досадой мотнул головой и остановился у края тротуара, заметив, что светофор с ржавым металлическим скрежетом переключился на красный свет. Он сердился на себя. И с чего это он вдруг вспомнил сегодня про этот дуб? Дуб больше ничего для него не значил, от этого воспоминания остался лишь слабый привкус грусти и – где-то глубоко в душе – капелька боли, которая быстро исчезала, как исчезают, скатываясь вниз по оконному стеклу, капельки дождя, оставляя след, напоминающий вопросительный знак.

Воспоминания детства были ему очень дороги, и он не хотел омрачать их грустью. В его памяти каждый день Детства был словно залит ярким, ровным солнечным светом, ему казалось, будто несколько солнечных лучей, даже не лучей, а точек света, долетавших из тех далеких дней, временами придавали особую прелесть его работе, скрашивали одиночество его холостяцкой квартиры и оживляли монотонное однообразие его жизни.

Эдди вспомнился один летний день, когда ему было девять лет. Он стоял посреди лесной просеки с лучшей подругой детства, и она рассказывала, что они будут делать, когда вырастут. Она говорила взволнованно, и слова ее были такими же беспощадно-ослепительными, как солнечный свет. Он слушал ее с восторженным изумлением и, когда она спросила, что бы он хотел делать, когда вырастет, ответил не раздумывая:

– Только то, что правильно. – И тут же добавил: – Ты должна сделать что-то необыкновенное... я хочу сказать, мы вместе должны это сделать.

– Что?

– Я не знаю. Мы сами должны это узнать. Не просто, как ты говоришь, заниматься делом и зарабатывать на жизнь. Побеждать в сражениях, спасать людей из пожара, покорять горные вершины – что-то вроде этого.

– А зачем?

– В прошлое воскресенье на проповеди священник сказал, что мы должны стремиться к лучшему в нас. Как по-твоему, что в нас – лучшее?

– Я не знаю.

– Мы должны узнать это.

Она не ответила. Она смотрела в сторону уходящего вдаль железнодорожного полотна.

Эдди Виллерс улыбнулся. Двадцать лет назад он сказал: «Только то, что правильно». С тех пор он никогда не сомневался в истинности этих слов. Других вопросов для него просто не существовало; он был слишком занят, чтобы задавать их себе. Ему все еще казалось очевидным и предельно ясным, что человек должен делать только то, что правильно, и он так и не понял, как люди могут поступать иначе; понял только, что они так поступают. Это до сих пор казалось ему



простым и непонятным: простым, потому что все в мире должно быть правильно, и непонятным, потому что это было не так. Он знал, что это не так. Размышляя об этом, Эдди завернул за угол и подошел к огромному зданию «Таггарт трансконтинентал».

Здание компании горделиво возвышалось над всей улицей. Эдди всегда улыбался, глядя на него. В отличие от домов, стоявших по соседству, стекла во всех окнах, протянувшихся длинными рядами, были целы, контуры здания, вздымаясь ввысь, врезались в нависший небосвод; здание словно возвышалось над годами, неподвластное времени, и Эдди казалось, что оно будет стоять здесь вечно.

Входя в здание «Таггарт трансконтинентал», Эдди всегда испытывал чувство облегчения и уверенности в себе. Здание было воплощением могущества и силы. Мраморные полы его коридоров были похожи на огромные зеркала. Матовые, прямоугольной формы светильники щедро заливали пространство ярким светом. За стеклянными стенами кабинетов рядами сидели у пишущих машинок девушки, и треск клавиатуры напоминал перестук колес мчащегося поезда. Словно ответное эхо, по стенам изредка пробегала слабая дрожь, поднимавшаяся из подземных тоннелей огромного железнодорожного терминала, расположенного прямо под зданием компании, откуда год за годом выходили поезда, чтобы отправиться в путь на другую сторону континента, пересечь его и вернуться назад.

«Таггарт трансконтинентал»; от океана к океану – великий девиз его детства, куда более яркий и священный, чем любая из библейских заповедей. От океана к океану, от Атлантики к Тихому, навсегда, восторженно думал Эдди, словно только что осознал реальный смысл этого девиза, проходя через сверкающие чистотой коридоры; через несколько минут он вошел в святая святых – кабинет Джеймса Таггарта, президента компании «Таггарт трансконтинентал».

Джеймс Таггарт сидел за столом. На вид ему было лет пятьдесят. При взгляде на него создавалось впечатление, что он, миновав период молодости, вступил в зрелый возраст прямо из юности. У него был маленький капризный РОТ, лысеющий лоб облипали редкие волоски. В его осанке была какая-то развинченность, неряшливость, совершенно не гармонирующая с элегантными линиями его высокого, стройного тела, словно предназначенного для горделивого и непринужденного аристократа, но доставшегося расхлябанному хаму. У него было бледное, рыхлое лицо и тускло-водянистые, с поволокой глаза. Его взгляд медленно блуждал вокруг, переходя с предмета на предмет с неизменным выражением недовольства, словно все, что он видел, действовало ему на нервы. Он выглядел уставшим и очень упрямым человеком. Ему было тридцать девять лет.

При звуке открывшейся двери он с раздражением поднял голову:

– Я занят, занят, занят... Эдди Виллерс подошел к столу.

– Это важно, Джим, – сказал он, не повышая голоса.

– Ну ладно, ладно, что у тебя там?

Эдди посмотрел на карту, висевшую под стеклом на стене кабинета. Краски на ней давно выцвели и поблекли, и Эдди невольно спрашивал себя, скольких президентов компании повидала она на своем веку и как долго каждый из них занимал этот пост. Железнодорожная компания «Таггарт трансконтинентал» – сеть красных линий на карте, испещрившая выцветшее тело страны от Нью-Йорка до Сан-Франциско, – напоминала систему кровеносных сосудов. Казалось, когда-то давным-давно кровь устремилась по главной артерии, но под собственным напором беспорядочно растеклась в разные стороны. Одна из красных линий, извиваясь, врезалась между Шайенном в штате Вайоминг и Эль-Пасо в Техасе. Это была линия Рио-Норт, одна из железнодорожных веток «Таггарт трансконтинентал». К ней недавно добавились новые черточки, и красная полоска продвинулась от Эль-Пасо дальше на юг. Эдди Виллерс поспешно отвернулся, когда его взгляд достиг этой точки. Он посмотрел на Таггарта и сказал:

– Я пришел по поводу Рио-Норт. – Он заметил, как Таггарт медленно перевел взгляд на край стола. – Там снова произошло крушение.

– Крушения на железной дороге случаются каждый день. И ради этого надо было меня беспокоить?

– Джим, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Рио-Норт разваливается на глазах. Рельсы износились на всем ее протяжении.

– Мы скоро получим новые рельсы.

Эдди продолжал, словно ответа не было вовсе:

– Линия обречена. Поезда пускать бесполезно. Люди просто перестают ездить в них.

– По-моему, в стране нет ни одной железной дороги, где какие-то линии не были бы убыточными. Мы далеко не единственные. Такое положение сложилось по всей стране, но это, безусловно, временное явление.

Эдди стоял, молча глядя на него. Таггарту очень не нравилась его привычка смотреть людям прямо в глаза. У Эдди глаза были большие, голубые, и в их взгляде постоянно читался вопрос. У него были светлые волосы и честное, открытое лицо, в котором не было ничего особенного, за исключением взгляда, выражавшего пристальное внимание и искреннее недоумение.

– Чего тебе от меня надо? – рявкнул Таггарт.

– Я просто пришел сказать тебе то, что ты обязан знать, кто-то же должен был сказать.

– Что где-то произошло очередное крушение?

– Что мы не можем бросить Рио-Норт на произвол судьбы.

Таггарт редко поднимал голову во время разговора. Обычно он смотрел на собеседника исподлобья, слегка приподнимая свои тяжелые веки.

– А кто, собственно, собирается ее бросить? – спросил он. – Об этом никогда не было и речи. Мне не нравится, что ты так говоришь. Мне это очень не нравится.

– Мы уже полгода выбиваемся из графика движения. Ни один перегон на этой линии не обошелся без аварии – серьезной или не очень. Одного за другим мы теряем клиентов. Сколько мы еще так протянем?

– Эдди, твоя беда в том, что ты пессимист. Тебе не хватает уверенности в будущем. Именно это и подрывает моральный дух нашей компании.

Ты хочешь сказать, что не собираешься ничего делать, чтобы спасти Рио-Норт?

Я этого не говорил. Как только поступят новые рельсы...

Да не будет никаких рельсов, Джим. – Эдди заметил, как брови Таггарта медленно поползли вверх. – Я только что вернулся из «Ассошиэйтед стил». Я разговаривал с Ореном Бойлом.

– И что же он сказал?

– Он битых полтора часа ходил вокруг да около, но определенно так ничего и не ответил.

– А зачем ты вообще к нему ходил? По-моему, они должны поставить нам рельсы лишь в следующем месяце.

– Да, но до этого они должны были поставить их три месяца назад.

– Непредвиденные обстоятельства. Это абсолютно не зависело от Орена.

– А первоначально они должны были выполнить наш заказ еще шестью месяцами раньше. Джим, мы уже больше года ждем, когда «Ассошиэйтэд стил» поставит нам эти рельсы.

– Ну а от меня ты чего хочешь? Не могу же я заниматься делами Орена Бойла.

– Я хочу, чтобы ты понял, что мы не можем больше ждать.

– А что об этом думает моя сестрица? – медленно спросил Таггарт наполовину насмешливым, наполовину настороженным тоном.

- Она придет только завтра.
- И что, по-твоему, я должен делать?
- Это тебе решать.

– А сам ты что предлагаешь? Только ни слова о «Реедэн стил».

Эдди ответил не сразу:

– Хорошо, Джим. Ни слова.

– Орен – мой друг. – Эдди промолчал. – И мне не нравится твоя позиция. Он поставит нам рельсы при первой же возможности. А пока их у нас нет, никто не вправе нас упрекать.

– Джим! О чем ты говоришь? Да пойми ты! Рио-Норт разваливается независимо от того, упрекают нас в этом или нет.

– Все смирились бы с этим. Пришлось бы смириться, если бы не «Финикс – Дуранго». – Таггарт заметил, как напряглось лицо Эдди. – Всех устраивала линия Рио-Норт, пока не появилась их ветка.

– У этой компании прекрасная железная дорога, и они отлично делают свое дело.

– Кто бы мог подумать, что какая-то «Финикс – Дуранго» сможет конкурировать с «Таггарт трансконтинентал». Десять лет назад это была захудалая местная линия.

– Сейчас на нее приходится большая часть грузовых перевозок в Аризоне, Нью-Мексико и Колорадо. Джим, нам нельзя терять Колорадо! Это наша последняя надежда. Последняя надежда для всех. Если мы не исправим положение, то потеряем всех солидных клиентов в этом штате. Они просто откажутся от наших услуг и будут работать с «Финикс – Дуранго». Нефтепромыслы Вайета мы уже потеряли.

– Не понимаю, почему все только и говорят о его промыслах.

– Потому что это чудо, которое...

– К черту Эллиса Вайета и его нефть!

Эти нефтяные скважины, подумал вдруг Эдди, нет ли у них чего-то общего с красными линиями на карте, похожими на систему кровеносных сосудов? Разве не таким же чудом, совершенно немыслимым в наши дни, много лет назад протянулись по всей стране линии «Таггарт трансконтинентал»?

Эдди подумал о скважинах, откуда фонтаном били черные потоки нефти, извергавшиеся на поверхность так стремительно, что поезда «Финикс – Дуранго» едва успевали развозить ее. Нефтепромыслы когда-то были лишь скалистым участком в горах Колорадо, на них давно махнули рукой как на неперспективные и истощившиеся. Отец Эллиса Вайета до самой смерти по капельке доил пересыхающие скважины, еле сводя концы с концами. А теперь в сердце гор будто вкололи адреналин, и оно ритмично забило, перекачивая черную кровь, которая непрерывным потоком вырывалась из каменных толщ. Конечно, это кровь, думал Эдди, ведь кровь питает тело, несет жизнь, а нефть Вайета именно это и делает. На некогда пустынных горных склонах забурлила жизнь. В районе, который раньше никто даже не замечал на карте, строились города, заводы и электростанции. Новые заводы, думал Эдди, в то время как доходы от грузовых перевозок с большей части традиционно мощных отраслей промышленности неуклонно падали из года в год. Новые нефтяные разработки – в то время как насосы останавливаются на одном крупном промысле за другим. Новый индустриальный штат – там, где, как все считали, нечего делать, разве что выращивать свеклу да разводить скот. И все это всего за восемь лет сделал один человек. Это было похоже на рассказы, которые Эдди Виллерс читал в школьных учебниках и в которые не мог поверить до конца, – рассказы о людях, добившихся невероятных свершений в те годы, когда великая страна только зарождалась. Ему очень хотелось познакомиться с Эллисом Вайетом. О нем много говорили, но встречались с ним лишь немногие – в Нью-Йорк он приезжал редко. Говорили, что ему тридцать три года и он

очень вспыльчив. Он изобрел какой-то способ обогащать истощившиеся нефтяные скважины и успешно применял его в деле.

– Твой Эллис Вайет просто жадный ублюдок, которого интересуют только деньги, – сказал Таггарт. – По-моему, в мире есть вещи и поважней.

– Да о чем ты, Джим? Какое это имеет отношение к...

– К тому же он здорово нас подставил. Мы испокон века занимались транспортировкой нефти из Колорадо и без проблем справлялись с этим. Когда делами занимался его отец, мы каждую неделю предоставляли им состав.

– Но, Джим, дни старика Вайета давно прошли, сейчас «Финикс – Дуранго» предоставляет ему два состава каждый день, и их поезда ходят строго по графику.

– Если бы он дал нам время, мы бы подтянулись...

– Но время для него очень дорого. Он не может позволить себе терять его.

– И чего же он хочет? Чтобы мы отказались от всех наших клиентов, пожертвовали интересами всей страны и отдали ему одному все наши поезда?

– С чего ты взял? Ему от нас ничего не надо. Он просто работает с «Финикс – Дуранго».

Для меня он всего лишь беспринципный мерзавец, безответственный, самонадеянный выскочка, которого сильно переоценивают. – Эдди очень удивил внезапный всплеск эмоций в обычно безжизненном голосе Таггарта. Я не уверен, что его нефтяные разработки такое уж полезное и выгодное дело. Я считаю, что он нарушает сбалансированность экономики всей страны. Никто не ожидал, что Колорадо станет индустриальным штатом. Как можно быть в чем-то уверенным или что-то планировать, если все постоянно меняется из-за таких, как он? Боже мой, Джим! Он ведь...

– Да, да. Я знаю. Он делает деньги. Но по-моему, это не главный признак, по которому оценивается полезность человека для общества. А что касается его нефти, то, если бы не «Финикс – Дуранго», он приполз бы к нам на коленях и терпеливо ждал своей очереди наравне с остальными клиентами, а не требовал, чтобы ему предоставляли больше составов, чем другим. Мы всегда категорически выступали против подобной хищнической конкуренции, но в данном случае мы бессильны, и никто не вправе нас упрекать.

Эдди почувствовал, что ему стало трудно дышать, а его виски будто сжало тисками. Наверное, это от нервного напряжения и невероятных усилий, он заранее твердо решил, что на сей раз поставит вопрос ребром; а сам вопрос был настолько ясен, что ему казалось, что ничто, кроме его неспособности убедительно изложить факты, не помешает Таггарту разобраться. Он сделал все что мог, но чувствовал, что ничего не получилось. Ему никогда не удавалось в чем-либо убедить Таггарта – всегда казалось, что они говорят на разные темы и о разных вещах.

– Джим, ну что ты несешь? Какое имеет значение, упрекает нас кто-нибудь или нет, когда линия разваливается на глазах?

На лице Таггарта промелькнула довольная холодная Улыбка.

Это очень трогательно, Эдди. Очень трогательно – твоя преданность нашей компании. Смотри, как бы тебе этак не превратиться в ее раба.

– А я и так ее раб, Джим.

– Тогда позволь мне спросить, входит ли в твои обязанности обсуждать со мной эти вопросы?

– Нет, не входит.

– Разве ты не знаешь, что у нас каждым вопросом занимается соответствующий отдел? Почему бы тебе не обратиться к тем, кто непосредственным образом отвечает за это? Почему ты лезешь с этими проблемами ко мне, а не к моей разлюбленной сестрице?

– Послушай, Джим. Я понимаю, что моя должность не дает мне права обсуждать с тобой

эти вопросы. Но я не понимаю, что происходит. Я не знаю, что там говорят твои штатные советники и почему они не могут втолковать тебе, насколько все это важно. Поэтому я и решил, что мне следует самому поговорить с тобой.

– Эдди, я очень ценю нашу детскую дружбу, но неужели ты думаешь, что это дает тебе право врывать в мой кабинет, когда вздумается? Учитывая твое положение в компании, не кажется ли тебе, что не следует все-таки забывать, что я – президент «Таггарт трансконтинентал»?

Его слова не произвели никакого эффекта. Эдди смотрел на него как ни в чем не бывало, ничуть не обидевшись. На его лице появилось лишь выражение озадаченности.

– Так значит, ты ничего не собираешься делать, чтобы спасти Рио-Норт?

– Я этого не говорил. Я вовсе этого не говорил.– Таггарт повернулся и смотрел на карту, на красную полосу к югу от Эль-Пасо. – Просто, как только пойдет дело на рудниках Сан-Себастьян и наше отделение в Мексике начнет приносить прибыль...

– Джим, только об этом не надо, прошу тебя, – резко перебил его Эдди.

Таггарт повернулся, пораженный внезапной вспышкой гнева, прозвучавшей в его голосе. Эдди никогда раньше не говорил с ним таким тоном.

– В чем дело, Эдди? – спросил он.

– Ты прекрасно знаешь, в чем дело. Твоя сестра сказала...

– К черту мою сестру!

Эдди не шелохнулся и не ответил. Некоторое время он стоял, глядя прямо перед собой, но ничего вокруг не замечая. Затем слегка поклонился и вышел из кабинета.

В приемной клерки Джеймса Таггарта выключали свет, собираясь уходить. Но Пол Харпер, старший секретарь Таггарта, все еще сидел за своим столом, перебирая рычаги наполовину разобранной пишущей машинки. Служащим компании казалось, что Пол Харпер так и родился в этом углу, за этим столом и не собирался покидать его. Он был личным секретарем еще у отца Джеймса Таггарта.

Пол Харпер поднял голову и взглянул на Эдди, когда тот вышел из кабинета президента компании. Это был усталый взгляд придавленного жизнью человека. Казалось, он понимал: появление Эдди в этой части здания означает проблемы на линии, но его визит к Таггарту закончился ничем; он все прекрасно знал и был к этому абсолютно равнодушен. Это было то циничное безразличие, которое Эдди видел на лице бродяги на улице.

– Послушай, Эдди, ты случайно не знаешь, где можно купить шерстяное бельишко? Обегал весь город и ни в одном магазине не нашел.

– Нет, не знаю, – сказал Эдди останавливаясь. – А почему ты спросил меня?

– Да я всех спрашиваю. Может, кто-нибудь да скажет. Эдди настороженно взглянул на седую шевелюру и тощее, равнодушное лицо Харпера.

– В этой конуре довольно прохладно, а зимой будет еще холоднее, – сказал Харпер.

– Что ты делаешь? – спросил Эдди, указывая на разобранную пишущую машинку.

Да опять эта хреновина сломалась. Ее уже бесполезно отправлять в мастерскую. В прошлый раз у них ушло на ремонт три месяца, вот я и решил починить сам. Но по-моему, без толку. – Он опустил кулак на клавиши машинки – Пора тебе на свалку, старушка. Дни твои сочтены.

Эдди вздрогнул. «Дни твои сочтены». Именно эти слова он пытался вспомнить, но забыл, в какой связи.

– Бесполезно, – сказал Харпер.

– Что бесполезно?

– Все.

– Эй, Пол, ты что это?

– Я не собираюсь покупать новую машинку. Новые сделаны из олова и никуда не годятся. Когда все старые машинки развалятся, наступит конец машинописи. Сегодня утром в метро произошла авария – тормоза теперь ни к черту. Эдди, иди домой, включи радио и послушай хорошую, веселую музыку. Выбрось ты все это из головы, парень. Твоя беда в том, что у тебя никогда не было хобби. У меня на лестнице опять все лампочки повыкручивали. Сердце побаливает. Утром не смог купить капель от кашля, потому что аптека на нашей улице на прошлой неделе обанкротилась. А месяц назад обанкротилась железная дорога «Техас вестерн». Вчера временно закрыли на ремонт мост Куинсборо. А, что толку об этом говорить? Кто такой Джон Галт?

\*\*\*

Она сидела у окна вагона, откинув голову назад и положив одну ногу на пустое сиденье напротив. Оконная рама подрагивала на скорости, и крошечные вспышки света изредка мелькали за стеклом, отделявшим ее от царившей за окном темной пустоты.

Она была в легких туфлях на высоком каблуке, светлый чулок плотно облегал ее вытянутую ногу, подчеркивая ее женственность и изящество, такая ножка казалась совершенно неуместной в пыльном вагоне поезда и как-то странно не вязалась с общим обликом пассажирки. На ней было дорогое, но довольно поношенное пальто из верблюжьей шерсти, бесформенно окутывавшее ее упруго-стройное тело. Воротник пальто был поднят к полям шляпы, из-под которой выбивалась прядь свисавших к плечам каштановых волос. Лицо ее казалось собранным из ломаных линий, с четко очерченным чувственным ртом. Ее губы были плотно сжаты. Она сидела, сунув руки в карманы, и в ее позе было что-то неестественное, словно она терпеть не могла неподвижность, и что-то неженственное, будто она не чувствовала собственного тела и не осознавала, что это женское тело.

Она сидела и слушала музыку. Это была симфония триумфа. Мелодия взмывала ввысь, она говорила о полете и была его воплощением, сутью и формой движения вверх, словно олицетворяла собой все те поступки и мысли человека, смыслом которых было восхождение. Это был внезапный всплеск звуков, вырвавшихся наружу и заполнивших все вокруг. В них чувствовались раскованность освобождения и напряженность целеустремленности. Они заполняли собой пространство, вытесняя из него все, кроме радости свободного порыва. Только едва уловимый отзвук говорил, из какого мира вырвалась эта мелодия, но говорил с радостным изумлением, словно вдруг обнаружилось, что ни мерзостей, ни страданий нет и не должно быть. Это была песнь беспредельной свободы.

Она думала: хоть на мгновение – пока это длится – можно полностью расслабиться, забыть обо всем и отдаться чувствам.

Ослабь гайки, отпусти рычаги... Вот так.

Где-то на самом краешке сознания сквозь звуки музыки пробивался стук колес. Они отбивали четкий ритм, в котором каждый четвертый такт был ударным, как бы подчеркивающим направление движения. Она могла расслабиться потому, что слышала стук колес. Она слушала симфонию и думала: вот почему должны крутиться колеса, вот куда они меня везут.

Она никогда раньше не слышала этой симфонии, но знала, что ее написал Ричард Хэйли. Она узнала неистовство и необычайную насыщенность звучания. Узнала его стиль, то была чистая и в то же время сложная мелодия – во времена, когда композиторы забыли, что такое мелодия, она сидела, глядя в потолок, забыв, где находится. Она не знала, что именно слышит: звучание целого симфонического оркестра или всего лишь напев; возможно, оркестр играл в ее воображении.

И, не видя его, она смутно осознавала, что отзвуки этой мелодии присутствовали во всех произведениях Ричарда Хэйли – все долгие годы его исканий, вплоть до того дня, когда на него, уже зрелого человека, внезапно обрушилось бремя славы, которое и погубило его. Слушая музыку, она думала о том, что именно она, эта тема, и была целью всех его трудов и свершений. Она вспомнила его попытки выразить ее в музыке, отдельные фрагменты его произведений, предвосхищавших эту тему, отрывки мелодий, в которых она присутствовала, но до конца так и не раскрывалась.

Теперь, написав эту музыку, Ричард Хэйли наконец... Она резко встала. Но когда же он написал ее?

Она вдруг осознала, где находится, и только теперь задалась вопросом, откуда доносится музыка.

Неподалеку от нее, в конце вагона, молодой светловолосый кондуктор, тихонько насвистывая, регулировал кондиционер. Она поняла, что он насвистывал уже довольно долго и именно это она и слышала.

Она некоторое время недоверчиво смотрела на молодого человека, прежде чем решилась спросить:

– Скажите, пожалуйста, что вы насвистываете?

Парень повернулся к ней лицом и посмотрел на нее. У него был прямой взгляд, а на лице появилась открытая, приветливая улыбка, словно он собирался поделиться чем-то сокровенным со своим другом. Ей понравилось его четко очерченное лицо. Она уже привыкла видеть вокруг только вялые, безвольные лица, уклоняющиеся от ответственности принять четкое выражение.

– Это концерт Хэйли, – ответил он улыбаясь.

– А какой именно?

– Пятый.

Прошло некоторое время, прежде чем она сказала, тщательно подбирая слова:

– Но Ричард Хэйли написал только четыре концерта. Улыбка исчезла с лица парня. Словно его встряхнули и он, очнувшись, вернулся в реальный мир, как несколько минут назад это произошло с ней. Его лицо сразу стало каким-то пустым, равнодушным и ничего не выражающим – так пустеет и мрачнеет прежде полная света комната в которой внезапно закрыли ставни.

– Да, конечно же, вы правы. Я ошибся, – сказал он.

– Но что же вы тогда насвистывали?

– Мелодию, которую я где-то слышал.

– Что за мелодию?

– Не знаю.

– А где вы ее слышали?

– Не помню.

Она замолчала, не зная, что сказать, а парень вновь занялся кондиционером, не проявляя к ней больше никакого интереса.

– Эта мелодия очень напоминает музыку Хэйли, но я знаю каждую написанную им ноту и уверена, что этой мелодии он не сочинял.

На его лице появилось лишь едва уловимое выражение учтивости, когда он вновь повернулся к ней и спросил:

– Вам нравится музыка Ричарда Хэйли?

– Да, очень.

Он некоторое время смотрел на нее, словно в нерешительности, затем вновь повернулся к кондиционеру. Она стояла рядом и наблюдала, как он молчаливо, со знанием дела выполняет

свою работу.

Она не спала уже две ночи, но и сегодня не могла позволить себе уснуть. Поезд прибывал в Нью-Йорк рано утром, времени оставалось не так уж много, а ей нужно было еще многое обдумать.

И тем не менее ей хотелось, чтобы поезд шел быстрее, хотя это была «Комета Таггарта» – самый скоростной поезд в стране.

Она попыталась сосредоточиться, но мелодия еще жила где-то на краешке ее сознания, и она продолжала слушать ее, звучащую в полную силу, словно безжалостная поступь чего-то неотвратимого.

Она сердито тряхнула головой, сбросила шляпу, достала сигарету и закурила.

Она решила не спать, полагая, что сможет продержаться до следующей ночи. Колеса выстукивали четкий ритм. Она так привыкла к этому звуку, что подсознательно слышала только его, и он успокаивал ее. Она загасила сигарету. Ей все еще хотелось курить, но она решила подождать несколько минут, прежде чем взять другую.

Она резко проснулась, отчетливо ощутив, что что-то не так, и лишь потом поняла, что произошло. Поезд стоял. В полутемном вагоне, едва освещенном голубыми лампочками ночников, не было слышно ни звука. Она посмотрела на часы. Они не должны были здесь останавливаться. Она выглянула из окна. Поезд застыл посреди окружавших его со всех сторон пустынных полей.

Она услышала, как кто-то зашевелился на сиденье рядом, через проход, и спросила:

– Давно мы стоим?

– Около часа, – безразлично ответил мужской голос. Мужчина проводил ее удивленно-сонным взглядом, когда она вскочила с места и бросилась к двери.

Снаружи дул холодный ветер. Пустынная полоска земли простиралась под нависшим над ней ночным небом. Дэгни слышала, как в темноте шелестел травой ветер. Далеко впереди она заметила силуэты мужчин, стоявших возле локомотива; над ними, словно зацепившись за небо, горел красный огонь семафора.

Она быстро направилась к мужчинам вдоль застывших колес поезда. Когда она подошла, никто не обратил на нее внимания. Поездная бригада и несколько пассажиров тесной группой стояли у семафора. Они не разговаривали, просто стояли и безразлично ждали.

– Что случилось? Почему стоим? – спросила она. Машинист обернулся, удивленный ее тоном. Ее слова прозвучали властно, не как вопрос любопытного пассажира. Она стояла, сунув руки в карманы, – воротник пальто поднят, развевающиеся на ветру волосы то и дело падают на лицо.

– Красный свет, леди, – сказал он, указывая пальцем вверх.

– И давно он горит?

– Около часа.

– По-моему, мы стоим на запасном пути.

– Да.

– Почему?

– Я не знаю.

Тут в разговор вмешался проводник.

– Мне кажется, нас по ошибке перевели на запасной путь. Эта стрелка уже давно барахлит. А эта штука и вовсе не работает... – Он задрал голову вверх и посмотрел на красный свет семафора. – Вряд ли зеленый когда-нибудь вообще загорится. По-моему, семафор сломался.

– Тогда чего же вы ждете?

– Когда загорится зеленый.



Она замолчала, удивленная и возмущенная, и тут помощник машиниста, посмеиваясь, сказал:

– На прошлой неделе лучший поезд «Атлантик саузерн» простоял на запасном пути целых два часа – кто-то просто ошибся.

– Это «Комета Таггарта». Этот поезд никогда не опаздывает, – сказала она.

– Да, это единственный поезд в стране, который всегда приходит по расписанию, – согласился машинист.

– Все когда-то случается впервые, – философски заметил помощник машиниста.

– Вы, должно быть, мало что знаете о железных дорогах, леди, – сказал один из пассажиров. – Все сигнальные системы и диспетчерские службы в стране гроша ломаного не стоят.

Она повернулась к машинисту, не обращая внимания на эти слова:

Раз вы знаете, что семафор сломался, что же вы собираетесь делать?

Машинисту не понравился ее властный тон, он не мог понять, почему она с такой легкостью взяла этот тон. Она выглядела совсем молодой, лишь рот и глаза выдавали, что ей за тридцать. Прямой и взволнованный взгляд темно–серых глаз словно пронизывал насквозь, отбрасывая за ненадобностью все, что не имело значения. В лице женщины было что-то неуловимо знакомое, но он не мог вспомнить, где он ее видел.

– Послушайте, леди, я не собираюсь рисковать.

– Он хочет сказать, что мы должны ждать указаний, – пояснил помощник машиниста.

– Прежде всего, вы должны вести поезд.

– Но не на красный же свет. Если на семафоре красный, мы останавливаемся.

– Красный свет означает опасность, леди, – сказал пассажир.

– Мы не хотим рисковать, – повторил машинист. – Кто бы ни был виноват, все свалят на нас, если мы поведем поезд. Поэтому мы не сдвинемся с места до тех пор, пока нам не прикажут.

– А если никто не даст вам такого приказа?

– Рано или поздно кто-нибудь да даст.

– И сколько же вы предполагаете ждать? Машинист пожал плечами:

– Кто такой Джон Галт?

– Он хочет сказать – не надо задавать вопросов, на которые никто не может ответить, – пояснил помощник машиниста.

Она взглянула на красный свет семафора, на рельсы, уходившие в темную, непроглядную даль, и сказала:

– Поезжайте осторожно до следующего семафора. Если там все будет нормально, выходите на главную магистраль и остановите поезд у первой же станции, откуда можно позвонить.

– Да ну! Это кто же так решил?

– Я так решила.

– А кто вы такая?

Возникла пауза. Дэгни была удивлена и застигнута врасплох вопросом, которого совсем не ожидала. Но в этот момент машинист взглянул на нее пристальней и одновременно с ее ответом изумленно выдал из себя:

– Господи помилуй!

– Дэгни Таггарт. – Ее тон не был оскорбительным или надменным, она просто ответила как человек, которому нечасто приходится слышать подобный вопрос.

– Ну и дела! – сказал помощник машиниста, и все замолчали.

Спокойным, но авторитетным тоном Дэгни повторила указание:

– Выходите на главную магистраль и остановите поезд у первой же станции, откуда можно позвонить.

– Слушаюсь, мисс Таггарт.

– Вам придется наверстать время и восстановить график движения поезда. На это у вас есть остаток ночи.

– Хорошо, мисс Таггарт.

Она уже повернулась, чтобы уйти, когда машинист спросил:

– Мисс Таггарт, если возникнут какие-нибудь проблемы, вы берете на себя ответственность?

– Да.

Проводник последовал за ней, когда она направилась к своему вагону.

– Но... место в сидячем вагоне? Мисс Таггарт, как же так? Почему вы нас не предупредили?

Она слегка улыбнулась:

– У меня не было на это времени. Мой личный вагон прицепили к двадцать второму из Чикаго. Но я вышла в Кливленде, потому что двадцать второй опаздывал и я решила не дожидаться, пока отцепят мой вагон. «Комета» была ближайшим поездом до Нью-Йорка, но мест в спальном вагоне уже не было.

– Ваш брат – он бы не поехал в сидячем вагоне, – сказал проводник.

Дэгни рассмеялась:

– Да, он бы не поехал.

Группа мужчин у локомотива наблюдала, как она шла к своему вагону. Среди них был и молодой кондуктор. – Кто это такая? – спросил он, указывая ей вслед.

– Это человек, который управляет «Таггарт трансконтинентал». Вице-президент компании по грузовым и пассажирским перевозкам, – ответил машинист. В его голосе звучало искреннее уважение.

Издав протяжный гудок, звук которого затерялся в пустынных полях, поезд тронулся. Дэгни сидела у окна и курила очередную сигарету. Она думала: вот так все и разваливается по всей стране. В любой момент можно ожидать чего угодно и где угодно. Но она не испытывала гнева или обеспокоенности. У нее не было времени на чувства.

Просто ко всем проблемам, которые необходимо было уладить, добавилась еще одна. Она знала, что управляющий отделением дороги в штате Огайо не справляется со своими обязанностями и что он – друг Джеймса Таггарта. Она бы давно вышвырнула его, но ей некого было поставить на его место. Как ни странно, хороших специалистов было трудно найти. Но она все-таки решила уволить его и предложить должность Оуэну Келлогу – молодому инженеру, который прекрасно справлялся со своей работой одного из помощников управляющего терминалом «Таггарт трансконтинентал» в Нью-Йорке. Фактически именно он руководил терминалом. Она некоторое время наблюдала за тем, как он работает. Она всегда пыталась разглядеть в людях искры таланта и компетентности, словно старатель, терпеливо копающийся в пустой породе. Келлог был слишком молод для должности управляющего отделением штата, и она хотела дать ему еще год, чтобы он накопил опыта, но медлить было больше нельзя. Она решила сразу по приезде переговорить с ним.

Едва различимая полоска земли стремительно неслась за окном вагона, сливаясь в мутно-серый поток. Погруженная в расчеты, Дэгни вдруг заметила, что все-таки может что-то чувствовать: сильное, бодрящее чувство – радость действия.

\*\*\*

Дэгни встала с места, когда «Комета», со свистом рассекая воздух, ворвалась в один из

тоннелей терминала

«Таггарт трансконтинентал», распростершегося под Нью-Йорком. Всегда, когда поезд въезжал в тоннель, она испытывала нетерпение, надежду и непонятное возбуждение. Состояние было такое, будто обычное существование – лишь аляповатый цветной фотоснимок каких-то бесформенных предметов, а здесь и сейчас перед ней появился эскиз, выполненный несколькими резкими штрихами, на котором все представало четким, значимым – и достойным усилий.

Она смотрела на стены тоннеля, проплывающие за окнами, – голый бетон, по которому тянулась сеть труб и проводов; она видела сплетение рельсов, исчезающих во мгле тоннелей, где отдаленные капельками света горели зеленые и красные огоньки. И все – ничто не разбавляло ощущения чистой целенаправленности и восторга перед человеческой изобретательностью, благодаря которой все это стало возможным. Она подумала о здании компании, которое в этот момент находилось как раз над ней, надменно вздымаясь к небу, и о том, что эти тоннели его корнями переплелись под землей, сжимая в своих объятиях весь город и питая его.

Когда поезд остановился, она вышла из вагона и, почувствовав под ногами бетонную твердь платформы, ощутила необычайную легкость, прилив сил и желание действовать. Она быстро пошла вперед, как будто скорость могла помочь оформиться обуревавшим ее чувствам. Прошло какое-то время, прежде чем она осознала, что насвистывает какую-то мелодию. Это был мотив из Пятого концерта Хэйли.

Она почувствовала на себе чей-то взгляд и обернулась. Молодой кондуктор стоял на платформе, пристально глядя ей вслед.

\*\*\*

Она сидела на подлокотнике кресла лицом к Джеймсу Таггарту, расстегнув пальто, под которым был помятый Дорожный костюм. Эдди Виллерс сидел в другом конце кабинета, время от времени делая пометки в блокноте. Он занимал должность специального помощника вице-президента компании по грузовым и пассажирским перевозкам, и его главной обязанностью было оберегать ее от пустой траты времени. Дэгни всегда приглашала его на подобные совещания, чтобы потом ему ничего не нужно было объяснять. Джеймс Таггарт сидел за столом, втянув голову в плечи.

– Вся Рио-Норт от начала до конца – груды металлолома. Дела обстоят намного хуже, чем я предполагала. Но мы спасем ее, – сказала она.

– Конечно, – ответил Таггарт.

– На некоторых участках путь еще можно отремонтировать. Но лишь на некоторых и ненадолго. Первым делом проложим новую линию в горах Колорадо. Через два месяца у нас будут новые рельсы.

– Разве Орен Бойл сказал, что сможет...

– Я заказала рельсы в «Реардэн стил». Эдди Виллерс подавил возглас одобрения. Джеймс Таггарт ответил не сразу.

– Дэгни, почему бы тебе не сесть в кресло по-человечески? Ну кто так проводит совещания? – сказал он раздраженно.

Она ждала, что он скажет дальше.

– Так значит, ты заказала рельсы у Реардэна, я правильно тебя понял? – спросил он, избегая встречаться с ней взглядом.

– Да, вчера вечером. Я позвонила ему из Кливленда.

– Но совет директоров не давал на это разрешения. Я не давал разрешения. Ты не советовалась со мной.

Она подалась вперед, сняла трубку со стоявшего на столе телефона и протянула ее ему:

– Позвони Реардэну и отмени заказ. Таггарт откинулся на спинку кресла:

– Я не говорил, что хочу отменить его. Я вообще этого не говорил, – сказал он сердито.

– Значит, заказ остается в силе.

– Этого я тоже не говорил.

Дэгни повернулась к Эдди.

– Эдди, скажи, пусть подготовят контракт с «Реардэн стил». Джим подпишет его. – Она достала из кармана пальто скомканный листок бумаги и бросила его Эдди: – Здесь условия контракта и все необходимые цифры.

– Но совет директоров не... – начал было Таггарт.

Дэгни перебила его:

– Совет директоров не имеет к этому никакого отношения. Они больше года назад дали тебе разрешение на закупку рельсов. У кого их покупать – это уже твое личное дело.

– Мне кажется, было бы неверным принимать подобного рода решение, не дав совету возможности высказать свое мнение. Не понимаю, почему я должен брать на себя всю ответственность.

– Я беру ее на себя.

– А как насчет расходов, которые...

– У Реардэна цены ниже, чем в «Ассошиэйтед стил».

– Да, а как же быть с Ореном Бойлом?

– Я расторгла контракт. Мы имели на это право еще полгода назад.

– Когда ты расторгла его?

– Вчера.

– Но он не звонил мне, чтобы я подтвердил это.

– Он и не позвонит.

Таггарт сидел, уставившись в стол.

Дэгни спросила себя, почему он так негодует из-за того, что им придется работать с Реардэном, и почему его негодование приняло такую странную уклончивую форму. Компания «Реардэн стил» вот уже десять лет была главным поставщиком рельсов для «Таггарт трансконтинентал». Пожалуй, даже дольше, с тех пор, как выдала плавку первая Домна на сталелитейных заводах Реардэна, когда президентом «Таггарт трансконтинентал» был еще ее отец. Десять лет «Реардэн стил» исправно поставляла им рельсы. В стране было не так уж много компаний, которые в срок и качественно выполняли заказы. «Реардэн стил» была одной из этих немногих. Дэгни подумала, что, будь она сумасшедшей, то пришла бы к выводу, что ее брат потому так не хотел иметь дело с Реардэном, что тот всегда относился к работе с невероятной ответственностью, исполняя все в срок и предельно качественно. Но она не стала делать такой вывод – ни один человек не может испытывать такие чувства.

– Это несправедливо, – сказал Таггарт.

– Что несправедливо?

– Что мы из года в год отдаем все наши заказы только «Реардэн стил». Мне кажется, мы должны дать такую же возможность кому-нибудь другому. Реардэн в нас не нуждается. У него и без нас хватает клиентов. Наш долг – помогать набрать силу тем, кто помельче. А так мы просто-напросто укрепляем монополиста.

– Не говори ерунды, Джим.

– Но почему мы должны заказывать то, что нам нужно, именно в «Реардэн стил»?

– Потому что только там мы всегда это получаем.

– Мне не нравится Генри Реардэн.

– А мне он нравится. Но в конце концов, какое это имеет значение? Нам нужны рельсы, а он единственный человек, который может их нам поставить.

– Человеческий фактор тоже очень важен. Но для тебя такого понятия просто не существует.

– Но мы же говорим о спасении железной дороги, Джим.

– Да, конечно, конечно, но ты абсолютно не принимаешь во внимание человеческий фактор.

– Абсолютно.

– Если мы закажем у Реардэна такую большую партию стальных рельсов...

– Это не стальные рельсы. Они будут сделаны из металла Реардэна.

Она всегда старалась не показывать своих чувств, но на этот раз вынуждена была нарушить это правило и громко рассмеялась, увидев, какое выражение появилось на лице Таггарта после ее слов.

Металл Реардэна представлял собой новый сплав, созданный им после десяти лет экспериментов. Реардэн недавно выставил свой сплав на рынок и до сих пор не получил ни одного заказа.

Таггарт не мог понять резкой перемены в голосе Дэгни, когда та внезапно перешла от смеха к резко-холодному тону:

– Перестань, Джим. Я прекрасно знаю, что ты сейчас скажешь. Никто никогда не использовал этот сплав. Никто не советует его применять. Он никого не интересует, и никто не хочет его покупать. Тем не менее наши рельсы будут сделаны именно из металла Реардэна.

– Но... но... никто никогда не использовал этот сплав! Он с удовлетворением отметил, что она замолчала. Ему нравилось наблюдать за эмоциями людей; они были как красные фонарики, развешанные вдоль темного лабиринта человеческой личности, отмечая уязвимые точки. Но он не мог понять, какие чувства способен вызывать в человеке металлический сплав и о чем эти чувства могут свидетельствовать. Поэтому он не мог извлечь никакой пользы из того, что заметил в лице Дэгни.

– Лучшие специалисты в области металлургии весьма скептически оценивают сплав Реардэна, допуская, что...

– Прекрати, Джим.

– Ну хорошо, на чье мнение ты опираешься?

– Меня не интересует чужое мнение.

– Чем же ты руководишься?

– Суждением.

– Чьим?

– Своим.

– Ну и с кем ты советовалась по этому поводу?

– Ни с кем.

– Тогда что же ты, черт возьми, можешь знать о сплаве Реардэна?

Что это лучшее из всего, что когда-либо появлялось на рынке.

– Откуда ты это знаешь?

– Потому что он прочнее стали, дешевле стали и намного устойчивее к коррозии, чем любой из существующих металлов.

– Ну и кто тебе это сказал?

– Джим, в колледже я изучала машиностроение. И я понимаю, когда вижу дельную вещь.

– И что же ты увидела?

– Реардэн показал мне расчеты и результаты испытаний.

– Послушай, если бы это был хороший сплав, его бы уже использовали, но этого никто не делает. – Он заметил, что она вновь начинает сердиться, и нервно продолжил: – Ну откуда ты знаешь, что он хороший? Как ты можешь быть в этом уверена? Как можно так принимать решения?

– Кто-то же должен принимать решения, Джим.

– Кто? Я не понимаю, почему именно мы должны быть первыми. Решительно не понимаю.

– Ты хочешь спасти Рио-Норт или нет? Он не ответил.

– Если бы у нас было достаточно денег, я бы сняла рельсы по всей линии и заменила их новыми. Их все необходимо заменить. Долго они не протянут. Но сейчас мы не можем себе этого позволить. Сначала надо расплатиться с долгами. Ты хочешь, чтобы мы выкарабкались, или нет?

– Но мы все еще лучшая железная дорога в стране. У других дела идут еще хуже.

– Значит, ты хочешь, чтобы мы продолжали сидеть по уши в долгах?

– Я этого не говорил. Почему ты всегда все упрощаешь? И если уж ты так обеспокоена нашим финансовым положением, то я не понимаю, почему ты хочешь выбросить деньги на Рио-Норт, когда «Финикс – Дуранго» перехватила весь наш бизнес в этом районе. Зачем вкладывать деньги в эту линию, если мы совершенно беззащитны перед конкурентом, который сведет на нет все наши усилия и уничтожит результаты наших капиталовложений.

– Потому, что у «Финикс – Дуранго» прекрасная железная дорога, но я хочу сделать Рио-Норт еще лучше. Потому, что если будет нужно, я перегоню «Финикс – Дуранго», только в этом не будет необходимости: в Колорадо вполне хватит места, и каждая сможет заработать кучу денег. И я готова заложить компанию, чтобы построить дорогу к нефтепромыслам Вайета.

– Я сыт по горло этим Вайетом. Только и слышишь: Вайетто, Вайетсе.

Ему не понравилось, как она повела глазами и какое-то время сидела неподвижно, глядя на него.

– Я не вижу особой необходимости в принятии скоропалительных решений, – обиженно сказал он. – Просто скажи мне, что тебя так тревожит в настоящем положении дел нашей компании?

– Последствия твоих действий, Джим.

– Каких действий?

– Твой эксперимент с «Ассошиэйтэд стал», длящийся уже больше года, – раз. Твой мексиканский провал – два.

– Контракт с «Ассошиэйтэд стил» был одобрен советом директоров, – поспешно сказал он. – Линия Сан-Себастьян построена тоже с ведома и одобрения совета. К тому же я не понимаю, почему ты называешь это провалом.

– Потому, что мексиканское правительство собирается при первом удобном случае национализировать ее.

– Это ложь. – Его голос чуть не сорвался в крик. – Это всего лишь грязные слухи. У меня есть надежный источник в самых верхах, который...

– Не стоит показывать, что ты напуган, Джим, – сказала она с презрением.

Он не ответил.

– Сейчас бесполезно паниковать. Единственное, что мы можем сделать, – постараться смягчить удар. А это будет жестокий удар. Потерю сорока миллионов долларов не просто пережить. Но «Таггарт трансконтинентал» выдержала много жестоких потрясений, и я позабочусь о том, чтобы мы выстояли и на этот раз.

– Я отказываюсь, я решительно отказываюсь даже думать о возможности национализации Сан-Себастьян.

Хорошо, не думай об этом.

Некоторое время она молчала. Он сказал, огрызаясь:

– Не понимаю, почему ты из кожи вон лезешь, чтобы помочь Эллису Вайету, и в то же время утверждаешь, что не надо помогать бедной стране, которой никто никогда не помогал.

– Эллис Вайет не просит моей помощи, а мой бизнес состоит не в том, чтобы кому-то помогать. Я управляю железной дорогой.

– До чего же ограниченно ты на все смотришь! Не понимаю, почему мы должны помогать одному человеку, а не целой стране.

– Я не собираюсь никому помогать. Я просто хочу делать деньги.

– Это очень непрактичная позиция. Жажда личного обогащения уже в прошлом. Сейчас всеми признано, что интересы общества в целом должны ставиться во главу угла в любом коммерческом предприятии, которое...

– Долго ты еще собираешься разглагольствовать, чтобы уйти от главного вопроса?

– Какого вопроса?

– Контракта с «Реардэн стил».

Он не ответил. Он молча рассматривал ее. Она, казалось, вот-вот упадет от усталости, ее стройная фигура сохраняла вертикальное положение лишь благодаря прямой линии плеч, а плечи не опускались лишь благодаря сознательно огромному напряжению воли. Ее лицо нравилось немногим: оно было слишком холодным, а взгляд – слишком пристальным. Ничто не придавало ей очарования мягкости и нежности. Она сидела на подлокотнике кресла, и ее красивые, стройные ноги, болтавшиеся перед глазами Таггарта, раздражали его. Они противоречили той внутренней оценке, которую он давал собеседнице.

Она сидела молча, и он был вынужден спросить:

– Ты что, вот так, не раздумывая, решила позвонить и сделать этот заказ?

– Я решила это еще полгода назад. Я ждала, пока Хэнк Реардэн подготовит все для начала производства.

– Не называй его Хэнком. Это вульгарно.

– Его все так называют. Не пытайся сменить тему.

– Зачем тебе понадобилось звонить ему вчера вечером?

– Я не могла связаться с ним раньше.

– Почему ты не подождала, когда вернешься в Нью-Йорк и...

– Потому что я увидела, в каком состоянии Рио-Норт.

– Ну, мне нужно время, чтобы все обдумать, поставить вопрос на рассмотрение совета директоров, проконсультироваться у лучших...

– У нас нет на это времени.

– Ты не дала мне возможности выработать собственное мнение.

– Мне плевать на твое мнение. Я не собираюсь спорить ни с тобой, ни с советом директоров, ни с твоими профессорами. Ты должен сделать выбор, и ты сделаешь его прямо сейчас. Просто скажи: да или нет.

– Опять твои диктаторские замашки...

– Да или нет?

– Вот вечно ты так. Ты всегда все переворачиваешь и сводишь к одному: да или нет. В мире нет безусловных вещей, нет абсолюта.

– Стальные рельсы – абсолют, и мы их либо получим, либо нет. Третьего не дано.

Она ждала. Он не отвечал.

– Ну, так что ты скажешь?

– Ты берешь на себя ответственность?

– Да.

– Валяй, – сказал он и тут же добавил: – Но на свой страх и риск. Я не отменяю заказ, но и не даю тебе никаких гарантий насчет того, что я скажу совету директоров.

– Можешь говорить что угодно.

Она поднялась, чтобы уйти. Он чуть привстал, не желая завершать разговор на столь определенной ноте.

– Надеюсь, ты понимаешь, что понадобится уйма времени, чтобы завершить это дело, – сказал он с надеждой в голосе. – Это все не так просто.

– Ну конечно, конечно, – сказала она. – Я направлю Тебе подробный отчет, который составит Эдди и который ты все равно не станешь читать. Эдди поможет тебе подготовить по нему сообщение. Сегодня вечером я уезжаю в Филадельфию. Мне нужно встретиться с Реардэном. У нас с ним впереди много дел. – И добавила: – Это все так просто, Джим.

Она уже повернулась, чтобы уйти, когда он заговорил вновь, и то, что он сказал, показалось ей поразительно бессмысленным:

– Тебе-то хорошо. Для тебя это все вполне нормально. Другие так не могут.

– Как не могут?

– Другие – они человечны, они способны чувствовать. Они не могут посвятить всю свою жизнь железу и поездам. Тебе хорошо, у тебя никогда не было никаких чувств. Ты вообще никогда ничего не чувствовала.

Она остановилась и посмотрела на него. Отразившееся в ее темно-серых глазах изумление постепенно исчезало, уступая место спокойствию, затем в ее взгляде появилось какое-то странное выражение, напоминавшее усталость, но казалось, это было нечто более глубокое, чем сопротивление скопившемуся в ней утомлению.

– Да, Джим, – сказала она тихо. – Мне кажется, я никогда ничего не чувствовала.

Эдди Виллерс пошел за ней следом в ее кабинет. Всегда, когда Дэгни возвращалась, у него возникало ощущение, что мир становится чище, проще, податливее, и он как-то забывал о тех минутах, когда у него возникала смутная тревога. Он был единственным человеком, который считал вполне естественным, что именно Дэгни, несмотря на то что она женщина, является вице-президентом огромной компании. Когда ему было всего десять лет, она сказала, что когда-нибудь будет управлять железной дорогой. Сейчас это его совсем не удивляло, как он не удивился и в тот день, когда они стояли вдвоем посреди лесной просеки.

Когда они вошли в кабинет и он увидел, как она, сев за стол, начала просматривать оставленные им для нее отчеты, его охватило чувство, которое всегда возникало у него в заведенной, готовой рвануться с места машине.

Он уже собрался выйти из кабинета, как вдруг вспомнил, что забыл сказать ей об одном деле.

– Оуэн Келлог просил принять его. Она удивленно посмотрела на него.

– Интересно. Я и сама собиралась послать за ним. Пусть его вызовут, я хочу с ним поговорить. Эдди, – неожиданно добавила она, – распорядись, чтобы меня соединили с музыкальным издательством Эйерса.

– С музыкальным издательством Эйерса? – повторил он, не веря своим ушам.

– Да, я хочу кое о чем спросить.

Когда мистер Эйерс вежливо-мягким тоном поинтересовался, чем он может быть ей полезен, она спросила:

– Не могли бы вы мне сказать, написал ли Ричард Хэйли новый концерт для фортепиано с оркестром?

– Пятый концерт, мисс Таггарт? Разумеется, нет.



– Вы уверены?

– Абсолютно, мисс Таггарт. Он вообще ничего не написал за последние восемь лет.

– А он еще жив?

– Да, жив, а что? Вернее, я не могу сказать точно, о нем уже давно ничего не слышно. Но если бы он умер, нам наверняка стало бы об этом известно.

– А если бы он что-то написал, вы бы знали об этом?

– Несомненно. Мы узнали бы это первыми. Мы публикуем все его сочинения. Но он давно ничего не пишет.

– Понятно. Спасибо.

Когда Оуэн Келлог вошел в ее кабинет, она с удовлетворением отметила, что ее смутные воспоминания о его внешности верны. У него был тот же тип лица, что и у молодого кондуктора, которого она видела в поезде. Это было лицо человека, с которым она могла работать.

– Садитесь, мистер Келлог, – сказала она. Но он продолжал стоять перед ее столом.

– Мисс Таггарт, вы меня как-то попросили предупредить вас в случае, если я решу сменить место работы. Я пришел сказать, что увольняюсь.

Она ожидала чего угодно, только не этого. Прошло какое-то время, прежде чем она тихо спросила:

– Почему?

– По личным причинам.

– Вам не нравится работать у нас?

– Нравится.

– Вам предложили что-то лучшее?

– Нет.

– На какую железную дорогу вы переходите?

– Я не собираюсь переходить ни на какую железную дорогу.

– Чем же вы собираетесь заниматься?

– Пока не решил.

Она рассматривала его с чувством легкой обеспокоенности. На его лице не было и тени враждебности. Он смотрел ей прямо в глаза и отвечал на вопросы просто и откровенно, как человек, которому нечего скрывать или выставлять напоказ. Его лицо было вежливым и бесстрастным.

– Тогда почему вы хотите уйти?

– Из личных соображений.

– Вы больны? Это как-то связано с вашим здоровьем?

– Нет.

– Вы уезжаете из города?

– Нет.

– Вы что, получили наследство, которое позволяет вам больше не работать?

– Нет.

– Значит, вы собираетесь и дальше зарабатывать себе на жизнь?

– Да.

– Но не желаете работать в «Таггарт трансконтинентал»?

– Нет.

– В таком случае должно было произойти что-то, что вынудило вас принять это решение. Что?

– Ничего не произошло, мисс Таггарт.

– Я хочу, чтобы вы сказали мне. Я хочу это знать, и у меня есть на то свои причины.

– Мисс Таггарт, вы поверите мне на слово?

– Да.

– Никто и ничто связанное с моей работой в вашей компании не имеет никакого отношения к моему решению.

– И у вас нет никаких особых претензий к компании?

– Никаких.

– В таком случае, мне кажется, вы измените свое решение, когда узнаете, что я хочу вам предложить.

– Извините, мисс Таггарт, я не могу изменить его.

– Могу я сказать, что я имею в виду?

– Да, если вы этого хотите.

– Вы поверите мне на слово, если я скажу, что решила предложить вам должность, которую собираюсь предложить, еще до того, как вы попросили о встрече со мной? Я хочу, чтобы вы это знали.

– Я всегда поверю вам на слово, мисс Таггарт.

– Это должность управляющего отделением дороги в Огайо. Если хотите, она – ваша.

На его лице ничего не отразилось, словно ее слова значили для него не больше, чем для первобытного человека, который никогда не слышал о железной дороге.

– Мне это не нужно, мисс Таггарт.

Минуту поразмыслив, она сказала твердым голосом:

– Назовите свои условия, Келлог. Назовите свою цену. Я хочу, чтобы вы остались. Я в состоянии предложить больше, чем любая другая железная дорога.

– Я не собираюсь работать на другой железной дороге.

– А мне казалось, что вы любите свою работу.

Эти слова впервые вызвали в нем какие-то эмоции. Его глаза слегка расширились, а голос прозвучал как-то странно тихо и выразительно, когда он ответил:

– Да, я люблю ее.

– Тогда скажите, что я должна сделать, чтобы удержать вас.

Это вырвалось у нее непроизвольно и прозвучало настолько искренне, что он взглянул на нее так, словно ее слова наконец-то расшевелили его.

– Мисс Таггарт, наверное, было нечестно с моей стороны прийти к вам и сказать, что я уйду. Я знаю, вы попросили предупредить вас о моем уходе, чтобы иметь возможность сделать мне контрпредложение. Таким образом, это выглядит так, будто я пришел набивать себе цену. Но это совсем не так. Я пришел только потому, что... хотел сдержать данное вам слово.

Эта единственная заминка в его голосе словно внезапная вспышка прояснила, как много для него значило ее доверие и то предложение, которое она ему сделала, равно как и то, что ему было очень нелегко принять решение.

– Неужели нет ничего, что я могла бы предложить вам?

– Ничего, мисс Таггарт. Ничего на свете.

Он повернулся и направился к двери. Впервые в жизни она почувствовала себя совершенно беспомощной и побежденной.

– Почему? – спросила она, не обращаясь к нему.

Он остановился, пожал плечами и улыбнулся. На мгновение он словно ожил – это была самая загадочная улыбка, какую она когда-либо видела. В ней заключалась скрытая радость, глубокая печаль и бесконечная горечь.

– Кто такой Джон Галт? – спросил он.

Началось с нескольких отдельных огоньков. По мере того как поезд компании «Таггарт трансконтинентал» подъезжал к Филадельфии, они превратились в разреженную цепь ярких огней, разрывающих темноту ночи. Они казались совершенно бессмысленными посреди голой равнины, но были слишком яркими, чтобы не иметь никакого назначения. Пассажиры лениво смотрели на них с выражением полного безразличия.

Затем появились черные, едва различимые на фоне ночного неба очертания огромного здания, стоявшего неподалеку от железнодорожного полотна. Его сплошные стеклянные стены озарялись лишь отраженными огнями проходившего поезда.

Встречный товарный состав закрыл здание, заполнив все вокруг резким, пронзительным гулом. В те внезапные мгновения, когда мимо пассажиров проносились низкие грузовые платформы, вдали можно было увидеть сооружения, над которыми нависало тяжелое красноватое зарево. Казалось, строения дышат, но дышат судорожно, неровно, и с каждым выдохом отблески зарева меняли оттенок.

Последний товарный вагон промчался мимо, и взорам пассажиров предстали угловатые строения, освещенные лучами нескольких мощных прожекторов и окутанные красными, как и небо, клубами пара.

Потом появилось нечто похожее не на здание, а скорее на огромную раковину из рифленого стекла, замыкающую опоры, балки и краны в круг ослепительно яркого оранжевого пламени.

Люди в поезде не могли понять всей сложности представшей перед ними панорамы, напоминающей протянувшийся на десятки километров город, который жил своей жизнью, казалось, без малейшего участия человека. Они видели опоры, похожие на покосившиеся небоскребы, зависшие между небом и землей мосты и краны, внезапно появлявшиеся за толстыми стенами строений, из которых струей вырывалось пламя. Они видели цепочку плывущих сквозь ночную тьму светящихся цилиндров – это были раскаленные докрасна металлические болванки.

Здание компании стояло неподалеку от железнодорожного полотна. Огни огромных неоновых букв над крышей осветили салоны вагонов проезжавшего мимо поезда. Буквы гласили: «Реардэн стил».

Один из пассажиров, профессор экономики, заметил своему соседу:

– Что может значить отдельный человек по сравнению с колоссальными достижениями коллектива в нашу индустриальную эпоху?

Другой пассажир, журналист, сделал заметку для будущей статьи: «Хэнк Реардэн клеит бирку со своим именем на все, к чему прикасается. Из этого вы сами можете сделать вывод, что он за человек».

Поезд стремительно убегал во тьму, когда из-за высокого строения прорезала небо ярко-красная вспышка. Никто из пассажиров поезда не обратил на нее никакого внимания. Начало новой плавки не относилось к тем событиям, которые их научили замечать.

Это была плавка первого заказа на металл Реардэна. У рабочих, стоявших в литейном цехе у выпускного отверстия мартена, первый поток жидкого металла породил удивительное ощущение наступившего утра. Растекавшаяся по желобу узкая жидкая полоска искрилась белизной солнечного света. Озаренные ярко-красными вспышками клубы пара с шипением вздымались вверх. Фонтаны искр судорожно били в разные стороны, словно кровь из лопнувшей артерии.

Казалось, что, отражая бушующее пламя, пространство разорвется в клочья. Что раскаленный извивающийся поток вырвется из-под контроля человека и поглотит все вокруг. Но в самом жидком металле не было и намека на неистовство. Длинный белый ручеек струился с мягкостью нежной ткани, излучая сияние, подобное тому, что исходит от дружеской улыбки. Он послушно стекал по глиняному желобу и падал с высоты шести метров в литейный ковш, рассчитанный на двести тонн. Над плавным потоком поднимались снопы искр, казавшиеся изящными, как кружево, и безобидными, как бенгальские огни. Лишь присмотревшись, можно было заметить, что этот ручеек кипит. Временами из него вылетали огненные брызги и падали вниз, на землю. Это были брызги расплавленного металла. Ударившись о землю, они остывали и окутывались пламенем.

Двести тонн сплава более прочного, чем сталь, текучая жидкая масса температурой четыре тысячи градусов была способна уничтожить все вокруг. Но каждый дюйм потока, каждая молекула вещества, составлявшего этот ручеек, контролировались создавшим его человеком, являлись результатом упорных десятилетних исканий его разума.

Озарявшие темноту ослепительно-алые отблески время от времени освещали лицо человека, стоявшего в дальнем углу цеха. Он стоял, прислонившись к колонне, и смотрел. На мгновение ярко-красная вспышка отразилась в бледно-голубых, как лед, глазах, затем, пробежав по темному ребру колонны, осветила пепельные пряди волос и опустилась на пояс и карманы пальто, в которые были засунуты руки. Это был высокий худощавый мужчина. Он всегда был слишком высок для окружающих. У него было скуластое, изрезанное морщинами лицо. Но это были не те морщины, которые появляются с возрастом. Они всегда были у него; из-за них он выглядел значительно старше, когда ему было двадцать, и казался намного моложе теперь, в сорок пять. С тех пор как он себя помнил, ему все время говорили, что у него неприятное лицо, потому что оно было непреклонным и суровым, лишенным всякого выражения. Оно ничего не выражало и сейчас, когда он стоял, глядя на расплавленный поток. Это был Хэнк Реардэн.

Расплавленная масса заполнила ковш и начала обильно переливаться через край. Затем ослепительно-белые струйки побагровели и через мгновение превратились в серые железные сосульки, которые одна за другой начали крошиться и падать на землю. Поверхность остывавшего в ковше металла начала затягиваться бугристой, похожей на земную кору коркой шлака. Она становилась все толще и толще, в нескольких местах образовывались кратеры, в которых вес еще кипела расплавленная масса.

Высоко над головой в воздухе проплыла кабина крана, в которой сидел рабочий. Одной рукой он небрежно переключил рычаг, и огромные стальные крюки, свисавшие с цепей, поползли вниз, зацепили дужки ковша и легко, словно бидон с молоком, подняли его вверх.

Двести тонн расплавленного металла легко плыли по воздуху по направлению к литейным формам.

Хэнк Реардэн откинул голову назад и закрыл глаза. Он чувствовал, как от грохота крана дрожит колонна. «Дело сделано», – подумал он.

Рабочий увидел его и понимающе улыбнулся; это была улыбка собрата по великому торжеству, который знал, почему этот высокий светловолосый человек должен был быть здесь сегодня вечером. Реардэн улыбнулся в ответ. Улыбка рабочего была единственным поздравлением, которое он получил. Он повернулся и пошел обратно в свой кабинет. Лицо его вновь ничего не выражало.

Было уже очень поздно, когда он вышел из кабинета и пошел домой. Дом был довольно далеко от завода, и ему предстояло пройти несколько миль по безлюдной, пустынной местности, но, сам не зная почему, он решил пойти пешком.

Он шел, сунув одну руку в карман и сжимая в пальцах браслет в форме цепочки, сделанный

из своего сплава. Время от времени он шевелил пальцами, перебирая звенья браслета. Ему потребовалось десять лет, чтобы сделать его. Десять лет, думал он, это долгий срок.

Дорога была темная, с обеих сторон поросшая деревьями. Глядя вверх, он увидел на фоне звездного неба несколько высохших, свернувшихся листочков, которые вот-вот должны были опасть. Впереди в окнах домов, стоявших поодаль друг от друга, горел свет, и от этого дорога казалась еще более безлюдной и затерянной в темноте.

Ему никогда не было одиноко, за исключением тех минут, когда он чувствовал себя счастливым. Время от времени он оборачивался, чтобы взглянуть на разливавшееся в небе над заводом зарево.

Он не думал о прошедших десяти годах. К этому дню от них осталось лишь чувство, которому он сам не мог дать точного определения, оно было спокойным и торжественным. Это чувство было итогом, и ему незачем было вновь пересчитывать составлявшие его слагаемые. Но слагаемые, хотя он и не вспоминал о них, оставались с ним.

Это были ночи, проведенные у огнедышащих печей в исследовательских лабораториях, ночи, проведенные в трудах над листами бумаги, которые он исписывал формулами и рвал в клочья, доведенный до отчаяния очередной неудачей.

Это были дни, когда небольшая группа молодых исследователей, которых он отобрал себе в помощь, ждала его указаний, как солдаты, готовые к безнадежному сражению, истощившие все силы, но по-прежнему рвущиеся в бой, только уже молча; и в их молчании слышались произнесенные слова: «Мистер Реардэн, это невозможно».

Это были минуты, когда он вскакивал, не закончив еду, из-за стола, внезапно озаренный новой идеей, которой нельзя было дать ускользнуть, которую нужно было осуществить и проверить, над которой он затем работал долгие месяцы, чтобы в конце концов отвергнуть как очередную неудачу.

Это были минуты, которые он пытался урвать от совещаний и деловых встреч, которые он, будучи человеком чрезвычайно занятым, человеком, которому принадлежали лучшие сталелитейные заводы в стране, пытался выкроить всеми способами, при этом почти чувствуя вину, словно он спешил на тайное свидание.

Все эти десять лет, что бы он ни делал и что бы ни видел, он был одержим одной мыслью. Эта мысль не давала ему покоя, когда он смотрел на городские здания, на железную дорогу, на отдаленные огни в окнах фермерских домов, на нож в руке безупречной светской женщины, отрезавшей кусочек фрукта во время банкета. Все это время, всегда и везде, он думал о металлическом сплаве, который превзошел бы сталь во всех отношениях, о сплаве, который по отношению к стали стал бы тем, чем стала сталь по отношению к чугуну.

Это был длительный процесс самоистязания, когда он, потеряв всякую надежду и выбросив очередной забракованный образец, не позволял себе признаться в том, что устал, не давал себе времени чувствовать, а подвергая себя мучительным поискам, твердил: «Не то... все еще не то», – и продолжал работать, движимый лишь твердой верой в то, что может это сделать.

Потом настал день, когда это свершилось, – результат был назван металлом Реардэна.

Все это, доведенное до белого каления, растеклось и переплавилось в его душе – и сплавом стало странное спокойное чувство, которое заставляло его улыбаться, идя по темной, пустынной дороге, и изумляться тому, что счастье может причинять боль.

Он вдруг осознал, что думает о прошлом так, словно некоторые из минувших дней разворачивались перед ним, требуя, чтобы на них взглянули вновь. Ему не хотелось этого делать. Он презирал воспоминания, видя в них лишь бессмысленное потворство своим слабостям. Но он позволил себе оглянуться назад, на прожитые годы, вдруг поняв, что вспоминает о них из-за того браслета, который лежал сейчас у него в кармане.

Ему вспомнился день, когда, стоя на выступе скалы, он чувствовал, как струйки пота стекают по виску вниз, к шее. Ему было тогда четырнадцать лет, и это был его первый трудовой день на руднике в Миннесоте. Ему было тяжело дышать из-за жгучей боли в груди, и он стоял, ругая себя за то, что устал. Постояв так с минуту, он снова принялся за дело, решив, что боль не является достаточно веской причиной, чтобы прекратить работу.

Он вспомнил день, когда, стоя у окна своего кабинета, смотрел на рудник, с того утра принадлежащий ему. Тогда ему было тридцать.

То, что произошло с ним за шестнадцать лет, разделявших эти два дня, не имело никакого значения, так же как когда-то для него ничего не значила боль. Все это время он работал на рудниках и сталелитейных заводах севера страны, упорно продвигаясь к избранной цели. Единственным запомнившимся ему за время работы во всех этих местах было то, что люди вокруг, казалось, никогда не знали, что нужно делать, в то время как он знал это всегда. Он вспомнил, что задавался вопросом, почему по всей стране закрывалось столько рудников, как закрылся бы и этот, если бы он его не купил. Он мысленно взглянул на выступы маячившей в далеком прошлом скалы. Там рабочие укрепляли над воротами новую вывеску: «Рудники Реардэна».

Ему вспомнился день, когда он сидел у себя в кабинете, навалившись всем телом на стол. Было уже поздно, служащие разошлись по домам, и он мог лежать так. Он очень устал. Он словно участвовал в изнурительной гонке против собственного тела, и усталость, накопившаяся за эти годы, усталость, в которой он не хотел себе признаться, вдруг навалилась на него всей своей тяжестью и прижала к крышке стола. Он ничего не чувствовал, кроме желания не шевелиться. У него не было сил чувствовать, не было сил даже страдать. Казалось, он сжег всю свою энергию, извел на искры, приведшие в действие великое множество дел, и теперь, когда у него не было сил даже подняться, он спрашивал себя, может ли кто-нибудь вдохнуть в него ту единственную искорку, которая была ему так нужна. Он спрашивал себя, кто привел в движение его самого, кто поддерживает в нем это движение. Потом он поднял голову и медленно, с невероятным усилием поднял туловище и выпрямился в кресле, опершись дрожащей рукой о стол. Никогда больше он не задавал себе этого вопроса.

Он вспомнил день, когда, стоя на вершине холма, смотрел на угрюмо-безжизненные строения заброшенного сталелитейного завода, который купил накануне. Дул сильный ветер, и в сумрачном свете, пробивавшемся из-под нависших над головой туч, он видел грязно-красную, словно мертвая кровь, ржавчину на теле гигантских кранов и ярко-зеленые полчища сорняков, разросшихся над кучами битого стекла у подножья зияющих голыми каркасами стен. Вдали у ворот виднелись темные силуэты людей. Это были безработные из когда-то процветавшего, но пришедшего в упадок и теперь неторопливо умиравшего городка. Они молча глядели на роскошную машину, которую он оставил у заводских ворот, и спрашивали себя, действительно ли человек, стоящий на холме, – тот самый Генри Реардэн, о котором так много говорят, и правда ли, что заводы вскоре вновь откроются. В те дни газеты писали: «Очевиден тот факт, что сталелитейное дело в Пенсильвании идет на спад. Эксперты единодушно сходятся в одном – затея Реардэна со сталью обречена на провал. Возможно, вскоре мы станем свидетелями скандального конца скандального Генри Реардэна».

Это было десять лет назад. Холодный ветер, дувший сейчас ему в лицо, словно долетел из того далекого дня. Он оглянулся. В небе над заводом полыхало алое зарево. В этом зрелище чувствовалось таинство рождения жизни, подобное восхождению утреннего солнца.

Это были этапы его пути – станции, которые оставил позади его поезд. Между этими станциями пролегли годы, но он осознавал их очень смутно и расплывчато – так все расплывается перед глазами от ветра, когда мчишься на огромной скорости.

Но все мучения и нечеловеческие усилия, думал он, стоили того, потому что благодаря им настал этот день, день, когда была выплавлена первая партия металла Реардэна, которая станет рельсами для «Таггарт трансконтинентал».

Он прикоснулся пальцами к лежащему в кармане браслету. Этот браслет он сделал для своей жены из первой плавки нового металла.

Реардэн вдруг осознал, что подумал о чем-то абстрактном, именуемом «моя жена», а не о женщине, на которой был женат. Он пожалел внезапно, что сделал браслет, и вслед за этим ощутил угрызения совести за это сожаление.

Он тряхнул головой. Сейчас не время для былых сомнений. Сейчас он мог бы простить что угодно и кому угодно, потому что счастье облагораживает. Он ощущал уверенность в том, что сегодня каждый человек желал ему только добра. Ему очень хотелось кого-нибудь встретить, встать с распростертыми объятиями перед первым встречным незнакомым человеком и сказать: «Посмотри на меня». Он думал о том, что людям так не хватает радости и они жаждут малейшего ее проявления, чтобы хоть на мгновение освободиться от мрачного бремени страдания, которое казалось ему, сполна изведавшему эту жажду, таким необъяснимым и ненужным. Он так и не смог понять, почему люди должны быть несчастны.

Погруженный в свои мысли, он не заметил, как дошел до вершины холма. Он остановился и обернулся. Далеко на востоке узкой полоской полыхало зарево, а над ним на фоне ночного неба висели казавшиеся отсюда маленькими неоновые буквы: «Сталь Реардэна».

Он стоял выпрямившись, как перед судом, и думал о том, что в разных концах страны в темноте этой ночи полыхают неоновые слова: «Рудники Реардэна», «Угольные шахты Реардэна», «Каменоломни Реардэна».

Он подумал о прожитых годах, и ему вдруг захотелось зажечь над ними слова «Жизнь Реардэна».

Он резко повернулся и пошел дальше.

Он заметил, что по мере того, как он приближался к дому, его шаги становились медленнее, а радостное настроение постепенно улетучивалось. Он ощутил смутное нежелание входить в дом. Он вовсе не хотел его чувствовать. Нет, думал он, не сегодня; сегодня они поймут. Но он не знал и никогда не мог точно определить, какого именно понимания он ожидал от них.

Подойдя к дому, он увидел свет в окнах гостиной. Дом стоял на холме, возвышаясь над ним белой громадой. Его украшали лишь несколько псевдоколониальных пилястр, и то как бы неохотно. Дом предстал в безрадостной наготе, лишенной какой бы то ни было привлекательности.

Реардэн не был уверен, что жена заметила его, когда он вошел в комнату. Она говорила, сидя у камина и грациозно жестикулируя, пытаясь придать особую выразительность своим словам. Он услышал, как она на мгновение запнулась, и решил было, что она его увидела, но, не поворачивая головы, она продолжала говорить. – ... дело в том, что человеку искусства совершенно неинтересны так называемые чудеса технической изобретательности, – говорила она. – Он попросту не желает восторгаться канализацией. – Тут она повернула голову, посмотрела на стоявшего в тени Реардэна и, всплеснув изящными, как лебединая шея, руками, спросила с нарочито веселым изумлением: – О, дорогой. Не рановато ли ты сегодня? Неужели не возникло необходимости замести шлак или надраить заслонки?

Все повернулись к нему: мать, его брат Филипп и Пол Ларкин – давний друг их семьи.

– Извините. Я знаю, что уже поздно, – сказал он.

– Я не хочу слышать никаких извинений, – сказала его мать. – Ты мог хотя бы позвонить.

Он посмотрел на нее, смутно пытаясь что-то вспомнить.

– Ты обещал быть сегодня к ужину.

– Да, действительно обещал. Извини, мама, но сегодня на заводе мы выплавили... – Он вдруг замолчал не договорив. Он не знал, что помешало ему выговорить то, что он так хотел сказать. Лишь добавил: – Я просто... просто забыл.

– Именно это мама и имела в виду, – сказал Филипп.

– Ой, да дайте же ему прийти в себя. Он мыслями все еще на своем заводе, – весело сказала его жена. – Да сними же пальто, Генри.

Пол Ларкин сидел, глядя на него по-собачьи преданными глазами.

– Привет, Пол. Ты давно ждешь? – спросил Реардэн. Пол улыбнулся в благодарность за проявленное к нему внимание:

– Да нет. Мне удалось вскочить в пятичасовой из Нью-Йорка.

– Что, какие-нибудь проблемы?

– А у кого в наши дни нет проблем? – На его лице появилась покорная улыбка, дававшая понять, что замечание чисто философского характера. – Нет, на этот раз никаких проблем. Просто решил повидаться с тобой.

Жена рассмеялась:

– Ты разочаровал его, Пол. – Она повернулась к Реардэну: – Генри, это что, комплекс неполноценности собственного превосходства? Ты полагаешь, что с тобой никто не желает повидаться просто так, или считаешь, что никто не может обойтись без твоей помощи?

Он хотел было сердито возразить, но она улыбнулась ему так, словно это всего лишь шутка, а у него уже просто не осталось сил на несерьезную болтовню, поэтому он ничего не ответил. Он стоял, глядя на нее, и размышлял о том, чего никогда не мог понять.

Лилиан Реардэн все считали красивой женщиной. Она была высокого роста, и у нее была очень грациозная фигура, казавшаяся особенно привлекательной в платьях стиля ампир, с высокой талией, которые она любила. У нее был изысканный профиль, его чистые, гордые линии и блестящие пряди светло-каштановых волос, уложенных с классической простотой, создавали впечатление строгой аристократической красоты. Но когда она поворачивалась в фас, люди обычно испытывали легкое разочарование. Ее лицо нельзя было назвать красивым, особенно глаза – какие-то водянисто-бледные, не серые и не карие, они казались безжизненно-пустыми, лишенными всякого выражения. Реардэна всегда удивляло, почему на ее лице никогда не было выражения радости, ведь она так часто смеялась.

– Дорогой, мы с тобой уже встречались раньше, – сказала она в ответ на его пристальный взгляд. – Хотя, кажется, ты в этом не уверен.

– Генри, ты ужинал сегодня? – спросила его мать укоризненно-раздраженным голосом, словно то, что он был голоден, являлось для нее личным оскорблением.

– Да... Нет... я не был голоден.

– Я скажу прислуге, чтобы...

– Нет, мама, не сейчас. Это неважно.

– Вот оттого-то мне с тобой так трудно. – Она не смотрела на него и говорила в пустоту. – О тебе бесполезно заботиться, ты все равно этого не ценишь. Я никогда не могла заставить тебя правильно питаться.

– Генри, ты слишком много работаешь, – сказал Филипп, – нельзя так.

Реардэн рассмеялся:

– Но мне это нравится.

– Ты просто убеждаешь себя в этом. Это у тебя что-то вроде нервного расстройства. Когда человек с головой уходит в работу, он делает это, чтобы найти спасение от чего-то, что мучит его. Тебе следует найти себе какое-нибудь хобби.

– Перестань ради Бога, Фил, – сказал Реардэн и пожалел, что его голос прозвучал так



раздраженно.

Филипп никогда не мог похвалиться крепким здоровьем, хотя доктора не находили никаких особых дефектов в его долговязо-нескладном теле. Ему было тридцать восемь лет, но из-за хронического выражения усталости на лице иногда казалось, что он старше своего брата.

– Ты должен научиться как-то развлекаться, – продолжал Филипп, – иначе ты станешь скучным, ограниченным человеком. Зациклишься. Пора тебе выбраться из своей норы и взглянуть на мир. Ты же не хочешь вот так загубить свою жизнь.

Подавляя гнев, Реардэн старался убедить себя, что Филипп пытается проявить заботу о нем. Он говорил себе, что с его стороны несправедливо негодовать: они все хотели показать, что беспокоятся о нем, но ему не хотелось, чтобы его работа была причиной их беспокойства.

– Я сегодня прекрасно развлекся, Фил, – – сказал он улыбаясь и удивился, почему тот не спросил его, чем именно.

Ему очень хотелось, чтобы кто-нибудь задал ему этот вопрос. Ему было трудно сосредоточиться. Белая струя металла все еще стояла у него перед глазами, целиком заполняя сознание и не оставляя места ни для чего другого.

– Вообще-то мог бы и извиниться, но я слишком хорошо тебя знаю и на извинения не рассчитываю.

Голос принадлежал его матери. Он обернулся. Она смотрела на него обиженным взглядом беззащитного, а потому обреченного на смирение человека.

– Сегодня у нас ужинала мисс Бичмен.

– Кто?

– Мисс Бичмен, моя подруга.

– Да?

– Я тебе много раз рассказывала о ней, но ты никогда ничего не помнишь из того, что я говорю. Она так хотела познакомиться с тобой, но должна была уйти сразу после ужина. Мисс Бичмен очень занятой человек. Ей хотелось рассказать тебе о том, что мы делаем в приходской школе, о занятиях слесарным делом и о резных дверных ручках, которые детишки делают своими руками.

Ему потребовалось все самообладание, чтобы из уважения к матери ответить спокойным голосом:

– Извини, мама. Мне очень жаль, что я расстроил тебя.

– Да ничего тебе не жаль. Ты вполне мог бы прийти, если бы захотел. Но разве ты хоть раз сделал что-то для кого-нибудь, кроме себя? Мы все тебе глубоко безразличны, тебя не интересует, что мы делаем. Ты считаешь, что раз ты оплачиваешь счета, то этого вполне достаточно. Деньги! Ты только это и знаешь. И ничего, кроме денег, мы от тебя не видим. Ты хоть раз уделил кому-нибудь из нас хоть капельку внимания?

Если она хотела сказать, что скучает по нему, это означало, что она его любит; а раз она его любит, с его стороны несправедливо испытывать тяжелое, мрачное чувство, которое вынуждало его молчать, чтобы его голос не выдал, что это чувство – отвращение.

– Тебе на все наплевать, – продолжала она умоляюще язвительным тоном. – Ты сегодня был нужен Лилиан по очень важному делу, но я сразу сказала, что бесполезно тебя дожидаться.

– Мама, это не имеет никакого значения. Во всяком случае, для Генри, – сказала Лилиан.

Он повернулся к ней. Он стоял посреди комнаты, так и не сняв пальто, словно все вокруг него было нереальным и далеким от действительности.

– Это не имеет совершенно никакого значения, – весело повторила Лилиан.

Он не мог определить, каким тоном она говорила – оправдывающимся или самодовольным.

– Это некоммерческий вопрос. Он не имеет никакого отношения к бизнесу.

– И что же это?

– Просто я хочу устроить прием.

– Прием?

– О, не пугайся, дорогой, не завтра. Я знаю, что ты очень занят, но я планирую его через три месяца и хочу, чтобы это было большим, особым событием, поэтому не мог бы ты мне пообещать, что будешь в этот вечер дома, а не где-то в Миннесоте, Колорадо или Калифорнии?

Она как-то странно смотрела на него. Ее слова звучали легко, беспечно и в то же время многозначительно, ее улыбка, казавшаяся подчеркнуто простодушной, таила какой-то подвох.

– Через три месяца? Но ты же прекрасно понимаешь, что я не знаю наперед, какие неотложные дела могут заставить меня уехать из города.

– О, я понимаю. Но могу я назначить тебе деловое свидание, как управляющий железной дорогой, автомобилестроительным заводом или сборщик мусора, э... металлолома? Говорят, о деловых встречах ты не забываешь. Разумеется, ты волен выбрать тот день, который тебя больше устроит. – Она смотрела ему прямо в глаза, слегка наклонив голову, и в ее взгляде, направленном снизу вверх, сквозила какая-то особая женская мольба. Она спросила слегка небрежно и вместе с тем очень осторожно: – Я имела в виду десятое декабря, но может быть, тебя больше устроит девятое или одиннадцатое?

– Мне все равно.

– Десятое декабря – годовщина нашей свадьбы, Генри, – нежно сказала она.

Все смотрели на него, ожидая увидеть на его лице осознание своей вины, но по нему промелькнула лишь едва уловимая улыбка, словно слова жены лишь несколько позабавили его.

Нет, думал Реардэн, едва ли она рассчитывала этим уязвить его, ведь ему достаточно отказаться признать за собой какую-либо вину за свою забывчивость, и тогда уязвленной окажется она. Она знает, что может рассчитывать на его чувства к ней. Ее мотивом, думал он, было желание проверить его чувства и признаться в своих. Прием был не его, а ее способом отмечать торжество. Для него прием ровным счетом ничего не значил, в ее же понимании это лучшее, что она могла предложить в знак любви к нему и в память об их браке. Он должен уважать ее намерения, хотя и не разделяет ее представлений и не уверен, что какие бы то ни было знаки внимания с ее стороны ему до сих пор небезразличны. Он вынужден был уступить, потому что она полностью сдалась на его милость.

Он искренне и дружелюбно улыбнулся, признавая ее победу.

– Хорошо, Лилиан, обещаю быть дома вечером десятого декабря, – сказал он спокойно.

– Спасибо, дорогой.

Она как-то загадочно улыбнулась, и ему на мгновение показалось, что его ответ всех разочаровал.

Если она доверяла ему, если еще сохранила какие-то чувства к нему, то и он готов ответить ей тем же.

Он должен был это сказать, потому что хотел сделать это, как только вошел; только об этом он и мог говорить сегодня.

– Лилиан, извини, что я вернулся так поздно, но сегодня мы выдали первую плавку металла Реардэна.

На минуту воцарилась тишина. Затем Филипп сказал:

– Что ж, очень мило. Другие промолчали.

Он сунул руку в карман. Прикоснувшись пальцами к браслету, он словно вернулся в реальный мир и опять ощутил чувство, охватившее его, когда он смотрел на поток расплавленного металла.

– Лилиан, я принес тебе подарок, – сказал он, протягивая ей браслет.

Он не знал, что, опуская на ее ладонь браслет, стоит навтыжку, что его рука повторяет жест крестоносца, вручающего любимой свои трофеи.

Лилиан взяла браслет кончиками пальцев и подняла вверх, к свету. Звенья цепочки были тяжело-грубоватыми, какого-то странного зеленовато-голубого оттенка.

– Что это?

– Это первая вещь, сделанная из капель первой плавки металла Реардэна.

– Ты хочешь сказать, что это по ценности не уступает куску железнодорожной рельсы?

Он посмотрел на нее несколько озадаченно. Она стояла, позвякивая блестящим в ярком свете браслетом.

– Генри, это просто очаровательно! Как оригинально! Я произведу фурор, появившись в Нью-Йорке в украшениях, сделанных из того же металла, что и опоры мостов, моторы грузовиков, кухонные духовки, пишущие машинки и – что ты мне еще говорил? – а... суповые кастрюли.

– О Господи, Генри, какое тщеславие! – сказал Филипп.

– Он просто сентиментален, как все мужчины. Спасибо, дорогой, я оценила его. Я понимаю, что это не просто подарок.

– А я считаю, что это чистой воды эгоизм, – сказала мать. – Другой на твоём месте принес бы браслет с бриллиантами, потому что хотел бы доставить подарком удовольствие своей жене, а не себе. Но ты считаешь, что если изобрел очередную железку, то она для всех дороже бриллиантов только потому, что ее изобрел ты. Ты уже в пять лет был таким, и я всегда знала, что ты вырастешь самым эгоистичным созданием на земле.

– Ну что вы, мама, это просто очаровательно. Спасибо, дорогой.

Лилиан положила браслет на стол, встала на цыпочки и поцеловала Реардэна в щеку. Он не пошевелился и не наклонился к ней.

Постояв так с минуту, он повернулся, снял пальто и сел у камина, в стороне от остальных. Он ничего не чувствовал, кроме невероятной усталости.

Он не слушал, о чем они говорят, едва различая голос Лилиан, которая, защищая его, спорила с его матерью.

– Я знаю его лучше, чем ты, – говорила мать. – Его никто и ничто не интересует, если это не касается его работы. Его интересует только работа. Я всю жизнь пыталась воспитать в нем хоть чуточку человечности, но все было бесполезно.

Реардэн предоставил матери неограниченные средства, так что она могла жить, где и как захочет. Он спрашивал себя, почему она настояла на том, чтобы жить с ним. Он думал, что его успех, возможно, кое-что значит для нее, и если так, что-то их все же связывает, что-то такое, чего он не может не признать. Если она хочет жить в доме своего добившегося успеха сына, он не станет ей в этом отказывать.

– Бесполезно делать из Генри святого, мама. Это ему не дано, – сказал Филипп.

– Ты не прав, Фил. Ох, как ты не прав, – сказала Лилиан. – Беда как раз в том, что у Генри есть все задатки святого.

Чего они от меня хотят? – думал Реардэн. Чего добиваются? Ему от них никогда ничего не было нужно. Это они все время что-то требовали от него, и, хотя это выглядело любовью и привязанностью, выносить это было намного тяжелее, чем любую ненависть. Он презирал беспричинную любовь, как презирал незаработанное собственным трудом богатство. Они любили его по каким-то непонятным причинам и игнорировали все то, за что он хотел быть любимым. Он спрашивал себя, каких ответных чувств они от него добиваются, – если только им нужны его чувства. А хотели они именно его чувств. В противном случае не было бы постоянных обвинений в его безразличии к ним, не было бы хронической атмосферы подозрительности, как

будто они на каждом шагу ожидали, что он причинит им боль. У него никогда не было такого желания, но он всегда чувствовал их недоверчивость и настороженность. Казалось, все, что он говорил, задевало их за живое; дело было даже не в его словах и поступках. Можно было подумать, что их ранило само его существование. «Перестань воображать всякую чепуху», – приказал он себе, пытаясь разобраться в головоломке со всем присущим ему чувством справедливости. Он не мог осудить их не поняв, а понять их он не мог. Любит ли он их? Нет, подумал он, он всегда лишь хотел любить их, что не одно и то же. Он хотел любить их во имя неких скрытых ценностей, которые прежде пытался распознать в каждом человеке. Сейчас он не испытывал к ним ничего, кроме равнодушия. Не было даже сожаления об утрате. Нужен ли ему кто-нибудь в личной жизни? Ощущает ли он в самом себе нехватку некоего очень желанного чувства? Нет, думал он. Был ли в его жизни период, когда он ощущал это? Да, думал он, в молодости, но не теперь.

Чувство усталости все нарастало. Он вдруг понял, что это от скуки. Он всячески пытался скрыть это от них и сидел неподвижно, борясь с желанием уснуть, которое постепенно перерастало в невыносимую физическую боль.

Глаза у него уже слипались, когда он почувствовал мягкие влажные пальцы, коснувшиеся его руки. Пол Ларкин придвинулся к нему для доверительного разговора.

– Мне плевать, что там об этом говорят, Хэнк, но твой сплав – стоящая вещь. Ты сделаешь на нем состояние, как и на всем, за что берешься.

– Да, – сказал Реардэн. – Я знаю.

– Я просто... просто надеюсь, что у тебя не будет неприятностей.

– Каких неприятностей?

– Ну, я не знаю... ты же знаешь, как все обстоит сейчас... есть люди, которые... не знаю... всякое может случиться.

– Что может случиться?

Ларкин сидел, сгорбившись, глядя на него нежно-молящими глазами. Его короткое пухловатое тело казалось каким-то незащищенным и незавершенным, будто ему не хватало раковины, в которой он, как улитка, мог бы спрятаться при малейшей опасности. Грустные глаза и потерянная, беспомощная, обезоруживающая улыбка заменяли ему раковину. Его улыбка была открытой, как у мальчика, окончательно сдавшегося на милость непостижимой вселенной. Ему было пятьдесят три года.

– Народ тебя не очень жалует, Хэнк. В прессе ни одного доброго слова.

– Ну и что?

– Ты непопулярен, Хэнк.

– Я не получал никаких жалоб от моих клиентов.

– Я не о том. Тебе нужен хороший импресарио, который продавал бы публике тебя.

– Зачем мне продавать себя? Я продаю сталь.

– Тебе надо, чтобы все были настроены против тебя? Общественное мнение – это, знаешь ли, штука важная.

– Не думаю, что все настроены против меня. Во всяком случае мне на это наплевать.

– Газеты против тебя.

– Им делать нечего. В отличие от меня.

– Мне это не нравится, Хэнк. Это нехорошо.

– Что?

– То, что о тебе пишут.

– А что обо мне пишут?

– Ну, всякое. Что ты несговорчивый. Что ты беспощадный. Что ты всегда все делаешь по-

своему и не считаешься ни с чьим мнением. Что твоя единственная цель – делать сталь и делать деньги.

– Но это действительно моя единственная цель.

– Но не надо говорить этого.

– А почему бы и нет? Что же мне говорить?

– Ну, не знаю... Но твои заводы...

– Но это же мои заводы, не так ли?

– Да, но не надо слишком громко напоминать об этом. Ты же знаешь, как все сейчас обстоит... Они считают, что твоя позиция антиобщественна.

– А мне наплевать, что там они считают. Пол Ларкин вздохнул.

– В чем дело, Пол? К чему ты клонишь?

– Ни к чему конкретно. Только в наше время всякое может случиться. Нужна осторожность.

Реардэн усмехнулся:

– Ты что, волнуешься за меня?

– Просто я твой друг, Хэнк. Ты же знаешь, как я восхищаюсь тобой.

Полу Ларкину всегда не везло. За что бы он ни брался, все у него не ладилось. Не то чтобы он прогорал, скорее не преуспевал. Он был бизнесменом, но не мог удержаться подолгу ни в одной сфере бизнеса. Сейчас у него был небольшой завод по производству шахтного оборудования.

Он просто боготворил Реардэна. Он приходил к нему за советом, изредка брал небольшие займы, которые неизменно выплачивал, хотя и не всегда вовремя. Казалось, основой их дружеских отношений было то, что он, глядя на Реардэна, будто заряжался и черпал энергию, которой Генри обладал в избытке.

Когда Реардэн смотрел на Ларкина, у него возникало чувство, которое он ощущал при виде муравья, с невероятными усилиями волочившего спичку. Это так трудно для него, думал он тогда, и так просто для меня. Поэтому он всегда, когда мог, давал Ларкину советы, проявлял внимание, такт и терпеливый интерес к его делам.

– Я твой друг, Хэнк.

Реардэн пристально посмотрел на него. Ларкин сидел, глядя в сторону, молча обдумывая что-то.

– Как твой человек в Вашингтоне? – спросил он через некоторое время.

– По-моему, в порядке.

– Ты должен быть в этом уверен. Это важно, Хэнк. Это очень важно.

– Да, пожалуй, ты прав.

– Я вообще-то именно это и пришел тебе сказать. – Для этого есть особые причины?

– Нет.

Реардэну не нравился предмет разговора. Он понимал, что ему нужен человек, который отстаивал бы его интересы перед законодателями. Все предприниматели вынуждены были содержать таких людей, но он никогда не придавал этой стороне дела особого значения, не мог убедить себя, что это так уж необходимо. Какое-то необъяснимое отвращение – смесь безразличия и скуки – всегда останавливало его при мысли об этом.

– Проблема в том, Пол, что для этих дел приходится подбирать таких гнусных людишек, – сказал Реардэн, думая вслух.

– Ничего не поделаешь. Такова жизнь, – сказал Ларкин, глядя в сторону.

– Но почему, черт возьми, так происходит? Ты можешь мне это объяснить? Что происходит с миром?

Ларкин грустно пожал плечами:

– Зачем задавать вопросы, на которые никто не может ответить? Насколько глубок океан? Насколько высоко небо? Кто такой Джон Галт?

Реардэн встал.

– Нет, – сказал он резко. – Нет никаких оснований для подобных чувств.

Усталость исчезла, когда он заговорил о деле. Он ощутил внезапный прилив сил и острую потребность четко сформулировать для самого себя собственное понимание жизни и утвердиться в этом понимании, которое он столь ясно ощутил по дороге домой и которому сейчас угрожало что-то непонятное и необъяснимое.

Он энергично ходил взад-вперед по комнате. Он смотрел на свою семью. Они были похожи на несчастных, сбитых с толку детей, даже мать, и глупо негодовать по поводу их убожества, порожденного не злобой, а беспомощностью. Он должен научиться понимать их, раз уж вынужден так много им давать и раз они не могут разделить его чувство радостной, безграничной мощи.

Он посмотрел на них. Мать и Филипп о чем-то оживленно разговаривали, но он заметил, что они выглядят какими-то нервными и взвинченными. Филипп сидел в низком кресле, выпятив живот и слегка ссутулившись, словно неудобство его позы должно было служить укором смотревшим на него.

– Что случилось, Фил? – спросил Реардэн подходя. – У тебя такой пришибленный вид.

– У меня был тяжелый день, – ответил тот неохотно.

– Не ты один много работаешь, – сказала Реардэну мать. – У других тоже есть проблемы, даже если это не миллиардные супертрансконтинентальные проблемы, как у тебя.

– Ну почему же, это очень хорошо. Я всегда думал, что Филиппу нужно найти занятие по душе.

– Очень хорошо? Ты хочешь сказать, что тебе нравится наблюдать, как твой брат надрыгается на работе? Похоже, тебя это забавляет, не так ли?

– Почему, мама, нет. Я просто хотел бы помочь.

– Ты не обязан ему помогать. Ты вообще не обязан ничего чувствовать по отношению к нам.

Реардэн никогда толком не знал, чем занимается его брат или чем он хотел бы заниматься. Он оплатил обучение Филиппа в колледже, но тот так и не решил, чему посвятить себя. По понятиям Реардэна было ненормально, что человек не стремится получить какую-нибудь высокооплачиваемую работу, но он не хотел заставлять Филиппа жить по своим правилам; он мог позволить себе содержать брата и не замечать тех расходов, которые нес. Все эти годы он думал, что Филипп сам должен избрать карьеру по душе, не будучи вынужденным бороться за существование и зарабатывать себе на жизнь.

– Что ты делал сегодня, Фил? – спросил он покорно.

– Тебе это неинтересно.

– Мне это очень интересно, поэтому я и спрашиваю.

– Я сегодня носился по всему штату от Реддинга до Уилмингтона и разговаривал с множеством разных людей.

– Зачем тебе нужно было встречаться с ними?

– Я пытаюсь найти спонсоров для общества «Друзья всемирного прогресса».

Реардэн не мог уследить за множеством организаций, в которых состоял его брат, и не имел четкого представления о характере их деятельности.

Он смутно помнил, что последние полгода Филипп изредка упоминал это общество. Кажется, они устраивали бесплатные лекции по психологии, народной музыке и коллективному сельскому хозяйству. Реардэн презирал подобные организации и не видел никакого смысла вникать в характер их деятельности.

Он молчал.

– Нам нужно десять тысяч долларов на очень важную программу, – продолжал Филипп, – но выбить на это деньги – поистине мученическая задача. В людях не осталось ни капли сознательности. Когда я думаю о тех денежных мешках, с которыми сегодня разговаривал... Они тратят намного больше на любой свой каприз, но я не смог вытрясти из них даже жалкой сотни с носа. У них нет никакого чувства морального долга, никакого... Ты чего смеешься? – спросил он резко.

Реардэн стоял перед ним улыбаясь.

Это было так по-детски, так очевидно и грубо – в одной фразе намек и оскорбление! Что ж, совсем нетрудно ответить Филиппу оскорблением, тем более убийственным, что оно было бы чистой правдой. Но именно из-за этой простоты он не мог раскрыть рта. Конечно же, думал Реардэн, бедняга знает, что он в моей власти, что он сам себя подставил, а я вот возьму и промолчу – такой ответ поймет даже он. До чего же он все-таки докатился!

Реардэн вдруг подумал, что мог бы пробиться сквозь броню убожества, сковавшую брата, приятно ошеломить его, удовлетворив его безнадежное желание. Он думал – какая разница, в чем оно заключается? Это его желание; как мой металл, который значит для меня столько же, сколько для него эти десять тысяч долларов; пусть он хоть раз почувствует себя счастливым, может быть, это его чему-нибудь научит, разве не я говорил, что счастье облагораживает? У меня сегодня праздник, пусть он будет и у него – для меня это так мало, а для него это может означать так много.

– Филипп, – сказал он улыбаясь, – позвони завтра мисс Айвз в мой офис, она выдаст тебе чек на десять тысяч долларов.

Филипп озадаченно посмотрел на него. В его взгляде не было ни удивления, ни радости. Он просто смотрел пустыми, словно стеклянными, глазами.

– О, очень мило с твоей стороны, – сказал он. В его голосе не было никаких эмоций, даже обычной жадности.

Реардэн не мог разобраться в возникшем чувстве. Он ощутил странную пустоту, словно что-то рушилось внутри него, и вместе с тем необъяснимо обременительную тяжесть. Он знал, что это разочарование, но спрашивал себя, почему оно такое мрачное и уродливое.

– Очень мило с твоей стороны, Генри, – сухо повторил Филипп. – Я удивлен. Не ожидал этого от тебя.

– Неужели ты не понимаешь, Фил? – весело сказала Лилиан. – Генри сегодня выплавил свой металл. – Она повернулась к Реардэну: – Дорогой, может, объявить по этому поводу национальный праздник?

– Ты добр, Генри, – сказала мать, – но не так часто, как хотелось бы.

Реардэн стоял, глядя на Филиппа и будто ожидая чего-то. Филипп посмотрел в сторону, затем поднял голову и взглянул ему прямо в глаза:

– Ты ведь не очень-то беспокоишься об обездоленных? – спросил он, и Реардэн, с трудом веря в это, услышал в его голосе укоризненные нотки.

– Нет, Филипп, не очень. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив.

– Но эти деньги – не для меня. Я собираю их не в личных целях. У меня нет абсолютно никаких корыстных интересов. – Он говорил холодно, с сознанием собственной добродетели.

Реардэн отвернулся. Он вдруг почувствовал сильное отвращение; не потому, что Филипп лицемерил, а потому, что он говорил правду. Реардэн знал, что Филипп именно так и думает.

– Кстати, Генри, ты не возражаешь, если я попрошу тебя распорядиться, чтобы мисс Айвз выдала мне сумму наличными?

Реардэн обернулся и удивленно посмотрел на него.

– Видишь ли, «Друзья всемирного прогресса» – очень прогрессивная организация, и они всегда утверждали, что ты представляешь собой наиболее реакционный общественный элемент в стране; нам неловко вносить твое имя в список благотворителей – нас могут обвинить в том, что мы тебе продались.

Он хотел вlepить Филиппу пощечину. Но почти невыносимое презрение заставило его лишь закрыть глаза.

– Хорошо, – сказал он тихо, – ты получишь деньги наличными.

Он отошел к окну в дальнем конце комнаты и стоял, глядя на зарево, полыхавшее в небе над заводами.

Он услышал, как Ларкин выкрикнул ему в спину:

– Черт побери, Хэнк, тебе не следовало давать ему эти деньги!

Затем он услышал холодно-веселый голос Лилиан:

– Ты не прав, Пол. Ох как не прав! Что бы случилось с его тщеславием, если бы он время от времени не давал нам подачек? Что стало бы с его силой, если бы он не подчинял себе людей послабее? Что бы с ним стало, если бы он не содержал нас? Это совершенно нормально, я его ни в чем не обвиняю. Такова человеческая природа. – Она взяла браслет и вытянула руку вверх, показав, как сверкает металл в свете лампы. – Цепь, – сказала она. – Красивая, правда?

Это цепь, на которой он всех нас держит.

### *Глава 3. Вершина и дно*

Потолок был низким и тяжелым – как в подвале, и, проходя по комнатам, люди невольно пригибали голову, словно тяжесть нависавшего сверху панельного свода давила на плечи. Круглые обитые темно-красной кожей кабины были встроены в каменные стены, выглядевшие так, словно их разъели время и сырость. Окон не было, лишь полосы голубоватого света, напоминавшего о светомаскировке при военном положении, пробивались сквозь проемы в каменной кладке. Узкая, длинная лестница вела вниз, словно спускаясь глубоко под землю. Это был самый дорогой бар Нью-Йорка, и находился он на крыше небоскреба.

За столом сидели четверо мужчин. Находясь на высоте шестидесяти этажей над городом, они разговаривали негромко, не так, как человек обычно говорит на большой высоте, охваченный чувством свободы при виде простирающегося перед ним пространства; их голоса звучали приглушенно, под стать подвальной обстановке.

– Условия и обстоятельства, Джим, – сказал Орен Бойл, – условия и обстоятельства, абсолютно непредвиденные. У нас все было готово для производства этих рельсов, но произошел непредвиденный поворот событий, который никто не в силах был предотвратить. Если бы ты дал нам хоть какой-то шанс, Джим.

– По-моему, разобщенность является главной причиной всех социальных проблем, – медленно, растягивая слова, сказал Таггарт. – Моя сестра имеет некоторое влияние в определенных кругах наших акционеров, и мне не всегда удается противостоять их разрушительным действиям.

– Точно, Джим. Разобщенность – вот в чем проблема. Я абсолютно уверен, что в нашем сложном индустриальном обществе ни одна сфера бизнеса не может развиваться успешно, не взяв на себя часть проблем других отраслей.

Таггарт сделал глоток из своей рюмки и поставил ее обратно на стол.

– На их месте я бы уволил бармена, – сказал он.



– Возьмем, к примеру, «Ассошиэйтед стал». У нас самые современные заводы в стране и самая лучшая организация производства. Это неоспоримый факт – в прошлом году журнал «Глоб» присудил нам премию за эффективность производства. Поэтому мы можем утверждать, что сделали все, что в наших силах, и никто не имеет права нас в чем-либо обвинять. Но что же поделаешь, если дефицит железной руды – национальная проблема. Мы не могли получить руду, Джим.

Таггарт ничего не ответил. Он сидел за столом, широко расставив локти, хотя стол и без того был маленьким и неудобным. Троице его собеседникам пришлось потесниться, но они, казалось, воспринимали это как само собой разумеющееся.

– Сейчас никто не может получить руду, – продолжал Бойл. – Природные запасы исчерпаны, оборудование изношено, материалов не хватает, с транспортом перебои... имеются и другие неизбежные трудности.

– Горнодобывающая промышленность разваливается. Отсюда и крах горного машиностроения, – сказал Пол Ларкин.

– Общеизвестно, что все сферы экономики взаимосвязаны и взаимозависимы, – сказал Орен Бойл. – Поэтому каждый обязан брать на себя часть бремени всех остальных.

– По-моему, так оно и есть, – сказал Висли Мауч, но на него никто никогда не обращал внимания.

– Моей целью, – продолжал Бойл, – является сохранение свободной рыночной экономики, которая, по всеобщему мнению, проходит сейчас своего рода проверку. Если она не докажет своей социальной значимости и не примет на себя ответственности за судьбу всего общества, народ такую экономику не поддержит. Она просто рухнет, если не выработает в себе дух коллективизма, в этом нет никакого сомнения.

Орен Бойл возник неизвестно откуда пять лет назад, и с тех пор его портрет систематически появлялся на обложках всех журналов страны. Он начал свое дело, имея всего сто тысяч личного капитала и получив займ в двести миллионов от государства. В настоящее время он возглавлял огромный концерн, поглотивший множество компаний поменьше. Как он любил повторять, его пример наглядно доказывал, что у человека все еще есть шанс преуспеть в этом мире благодаря личным способностям.

– Единственным оправданием частной собственности – сказал Бойл, – является ее служение обществу.

– По-моему, так оно и есть, – сказал Висли Мауч. Орен Бойл шумно отхлебнул ликер из своей рюмки. Он был крупным мужчиной, и у него была привычка, разговаривая, сильно и размашисто жестикулировать. Все в его внешности говорило о том, что он полон жизни, за исключением маленьких и узких, как щелочки, глаз.

– Джим, – сказал он, – похоже, что сплав Реардэна – сплошное надувательство. Я слышал, что ни один из экспертов не дал ему положительной оценки.

– Да, ни один.

– Мы долгие годы усиленно работали над проблемой улучшения качества стальных рельсов, но при этом увеличивается и их вес. Это правда, что рельсы из сплава Реардэна легче, чем рельсы, изготовленные из самой дешевой марки стали?

– Да, правда, – сказал Таггарт. – Легче.

– Но это же просто смешно, Джим. Это же невозможно. Физически. И ты собираешься поставить их на такую загруженную, скоростную, важную линию?

– Да.

– Ты же сам себе создаешь проблемы.

– Не я, моя сестра. – Таггарт сидел, медленно вращая двумя пальцами ножку рюмки. На

мгновение воцарилась тишина. – Национальный совет по вопросам металлургической промышленности принял резолюцию об организации комитета с целью изучения металла Реардэна. Ввиду того, что его практическое применение может представлять опасность для общества.

– По-моему, мудрое решение, – сказал Висли Мауч.

– Когда все сходятся в одном, – голос Таггарта вдруг стал хриплым, – когда все абсолютно единодушны, как смеет один человек пренебрегать общим мнением и выражать несогласие? По какому праву? Вот что я хочу понять – по какому праву?

Взгляд Бойла был устремлен прямо на Таггарта, но в полумраке, царившем в баре, было невозможно отчетливо рассмотреть лицо: он различил лишь расплывчато-водянистое голубоватое пятно.

– Если задуматься о природных ресурсах, недостаток которых мы ощущаем столь остро; если задуматься о жизненно важном сырье, которое отдельные частные лица изводят на безответственные эксперименты; если задуматься о руде... – Бойл не договорил и снова посмотрел на Таггарта.

Но Таггарт, казалось, знал, что Бойл ждет ответа, и с удовольствием растягивал паузу.

– Общество, Джим, жизненно заинтересовано в природных ресурсах, таких, как железная руда, – продолжал Бойл. – И оно не может оставаться равнодушным к бездумному расточительству какого-то антиобщественного индивидуума. Ведь частная собственность есть лишь доверительное пользование имуществом во имя благосостояния всего общества в целом.

Таггарт взглянул на Бойла и многозначительно улыбнулся. Эта улыбка, казалось, говорила, что те слова, которые он сейчас произнесет, послужат, в какой-то мере, ответом на рассуждения Бойла.

– Это не выпивка, а какие-то помои. Наверное, такова цена, которую вынужден платить интеллигентный человек, чтобы не тереться бок о бок со всяким сбродом. Но все же им следовало бы знать, что они имеют дело с людьми, которые знают, что такое хорошее спиртное. Раз уж я плачу, мне хотелось бы получить все сполна и в свое удовольствие.

Бойл ничего не ответил. Его лицо вдруг стало мрачным и угрюмым.

– Послушай, Джим... – начал он медленно. Таггарт улыбнулся:

– Что? Я тебя слушаю.

– Джим, я уверен, ты согласен с тем, что нет ничего страшнее монополизации рынка.

– Да, это так, – сказал Таггарт. – С одной стороны. Но с другой стороны, есть еще и ничем не сбалансированная, наносящая огромный ущерб конкуренция.

– Ты прав. Ты абсолютно прав. Нет ничего лучше золотой середины. Поэтому я считаю, что долг общества состоит именно в том, чтобы устранять крайности, ты согласен?

– Да, согласен.

– Давай теперь рассмотрим, как обстоят дела в горнодобывающей промышленности. Валовой объем добычи руды катастрофически падает. Это ставит под угрозу существование сталелитейной промышленности как таковой. Сталелитейные заводы закрываются один за другим по всей стране. Остался только один, который по удачному стечению обстоятельств всеобщий кризис обошел стороной. Там вроде бы добывают много руды и всегда поставляют в срок. Но кто получает прибыль? Никто, кроме владельца. Как по-твоему, это справедливо?

– Нет, не справедливо.

– Большинство из нас не является владельцами рудников. Как же мы можем конкурировать с человеком, заполучившим чуть ли не монопольное право на природные ресурсы, принадлежащие, в конечном счете, всем? Ничего удивительного, что ему всегда удается вовремя поставлять сталь, в то время как нам приходится бороться за каждый килограмм руды, ждать,

терять клиентов и в конце концов разоряться. Разве это в интересах общества – позволить одному человеку уничтожить целую отрасль?

– Конечно же, нет, – ответил Таггарт.

– Мне кажется, что национальная политика должна быть направлена на то, чтобы каждый получал по праву причитающуюся ему долю рудных ресурсов с целью сохранения всей отрасли в целом. Как ты считаешь, это справедливо?

– Справедливо.

Бойл вздохнул и осторожно сказал:

– Но, наверное, в Вашингтоне не так много людей, которые могли бы понять социально-прогрессивную политику?

– Такие люди есть, их, конечно, немного, и к ним требуется особый подход, но они есть.

Может быть, я поговорю с ними.

Бойл взял свою рюмку и залпом опустошил ее – так, будто он уже услышал все, что хотел услышать.

– Раз уж мы заговорили о прогрессивной политике, Орен, – сказал Таггарт, – ты мог бы задать себе следующий вопрос: сейчас, в период острого кризиса в сфере транспортных услуг, когда десятки железных дорог становятся банкротами и огромные территории остаются без железнодорожного сообщения, отвечают ли интересам общества совершенно ненужное чрезмерное скопление железных дорог в одном районе и хищническая конкуренция со стороны новичков на территориях, где давно обосновавшиеся компании имеют исторически сложившийся приоритет?

– Ну что ж, – сказал Бойл довольным голосом, – мне кажется, это очень интересный вопрос и его стоит рассмотреть более детально. Я мог бы поговорить об этом кое с кем из моих друзей в Национальном железнодорожном союзе.

– Не имей сто монет в облигациях, а имей сто друзей в организациях, – лениво промолвил Таггарт. Он неожиданно повернулся к Ларкину: – Ты согласен, Пол?

– Что? А, да. Да, конечно, – ответил тот удивленно.

– Я рассчитываю на тебя, Пол.

– Гм?

– Я рассчитываю на твои обширные дружеские связи. Казалось, все прекрасно знали, почему Ларкин ответил не сразу. Он как-то сник и, съжившись, придвинулся к столу.

– Если все объединятся во имя общей цели, никто же не пострадает! – выкрикнул он вдруг полным отчаяния голосом. Он заметил, что Таггарт пристально смотрит на него, и умоляюще добавил: – Мне бы очень не хотелось, чтобы из-за нас кто-нибудь пострадал.

– Это совершенно антиобщественная позиция, – медленно растягивая слова, сказал Таггарт. – Тот, кто боится признать необходимость определенных жертв, не имеет никакого права говорить об общей цели.

– Я прекрасно знаю историю, выпалил Ларкин, – и признаю существование исторической необходимости.

– Вот и хорошо, – сказал Таггарт.

– Я ведь не могу выступить против общемировой тенденции? – взмолился Ларкин.

– Конечно же, нет, – сказал Висли Мауч. – Нас с вами никто не упрекнет, если мы...

При звуке его голоса Пол вздрогнул и отпрянул от стола. Его словно покорило. Он органически не выносил Мауча.

– Надеюсь, ты хорошо провел время в Мексике, Орен? – вдруг громко-непринужденным тоном спросил Таггарт.

Казалось, все понимали, что цель сегодняшней встречи достигнута и они получили ответы

на все интересовавшие их вопросы.

– Мексика – прекрасная страна, – бодро ответил Бойл, – она вдохновляет и дает обильную пищу для размышлений. Продуктовые пайки у них, правда, не ахти. Я даже приболел немного. Но они там всю стараются поставить страну на ноги.

– И как у них идут дела?

– По-моему, прекрасно, просто прекрасно. Правда, сейчас там... Но в конце концов, они ведь нацелены на будущее. У Народной Республики Мексика большое будущее, это я вам точно говорю. Через пару лет они всех нас заткнут за пояс.

– Ты был на рудниках Сан-Себастьян?

Все четверо за столом сразу выпрямились и внутренне напряглись. Каждый из них вложил уйму денег в акции этих рудников.

Бойл ответил не сразу, и от этого его голос неожиданно прозвучал неестественно громко, когда он выпалил:

– О да, конечно. Именно за этим я и ездил в Мексику.

– И?..

– Что "и"?

– Как там у них дела?

– Великолепно. Просто великолепно. Это бесспорно самое богатое месторождение меди в мире.

– Ну и как они – работают?

– Еще бы. Я в жизни не видел такой бурной деятельности.

– И чем конкретно они занимаются?

– Знаешь, у них там управляющий мексикашка какой-то, я не понял и половины из того, что он мне говорил. Но работают они много, это точно.

– Какие-нибудь проблемы?

– Проблемы? Где угодно, только не там. Рудники Сан-Себастьян – последнее оставшееся в Мексике частное предприятие, и это многое меняет. Именно поэтому там кипит работа.

– Орен, – осторожно произнес Таггарт, – а как насчет слухов, что рудники Сан-Себастьян собираются национализировать?

– Клевета, – ответил Бойл. – Просто грязные слухи. Уж я-то знаю. Я ужинал с министром культуры Мексики и обедал с прочими шишками.

– Вообще-то следовало бы издать закон об ответственности за распространение слухов и сплетен, – угрюмо проронил Таггарт. – Давайте выпьем еще.

Он раздраженно махнул рукой, подавая знак официанту. В темном углу зала была небольшая стойка, за которой стоял старый, с изрезанным морщинами лицом бармен. Он подолгу стоял неподвижно и, когда его подзывали, передвигался с высокомерной медлительностью. Его обязанностью было так обслуживать посетителей, чтобы, находясь в этом баре, они получали максимум удовольствия, но он вел себя как издерганный фельдшер на приеме венерических больных.

Все четверо молча сидели за столом, пока официант не принес очередную порцию выпивки. Он поставил бокалы на стол – в полутьме они напоминали четыре бледно-голубых язычка слабого пламени. Таггарт взял свой бокал и вдруг улыбнулся.

– Давайте выпьем за жертвы во имя исторической необходимости, – сказал он, глядя на Ларкина.

На мгновение наступила тишина. В освещенной комнате это было бы состязанием людей, смотрящих в глаза друг другу, но здесь, в полумраке, каждый видел лишь темные провалы глазниц других. Затем Пол Ларкин поднял бокал.

– Плачу за всех, ребята, – сказал Таггарт.

Никто не нашелся, что ответить, пока Бойл с вежливым любопытством не заговорил:

– Послушай, Джим, я хотел у тебя спросить, что, черт побери, творится на твоей линии Сан-Себастьян?

– Что ты хочешь сказать? Что там не так?

– Ну, не знаю, но мне кажется, что пускать по такой линии всего один пассажирский поезд в день – это...

– Один поезд в день?!

– ...это просто курам на смех, к тому же еще какой поезд. Ты, наверное, унаследовал эти доисторические вагоны от своего прапрадедушки, да и он, должно быть, гонял их нещадно. А где ты откопал паровоз?

– Паровоз?

– Вот именно. Я, кроме как на фотографиях, раньше такого не видел. В каком музее ты его раздобыл? Ну-ну, не делай вид, будто ничего не знаешь, скажи, что ты затеял?

– Да, конечно, я знаю, – поспешно сказал Таггарт. – Это всего лишь... Ты случайно оказался там именно на той неделе, когда у нас возникла небольшая заминка с локомотивами – давно заказали новые, но вышла заминка, – ты ведь знаешь, какие у нас проблемы с вагоностроителями, но это временно.

– Конечно, – сказал Бойл, – заминки неизбежны. Тем не менее на таком ужасном поезде я еще не ездил. Чуть душу из меня не вытряс.

Через несколько минут все заметили, что Таггарт замолчал. Казалось, он был поглощен собственными проблемами. Когда он резко, без извинений поднялся, остальные тоже встали, восприняв это как приказ.

– Было очень приятно, Джим. Очень приятно. Вот так и рождаются великие проекты – за бокалом вина с друзьями, – пробормотал Ларкин, напряженно улыбаясь.

– Преобразования в обществе происходят медленно, – холодно сказал Таггарт, – нужно набраться терпения и быть осторожными. – Впервые за весь вечер он повернулся к Висли Маучу: – Что мне в тебе нравится, Мауч, так это то, что ты не болтлив.

Висли Мауч был человеком Реардэна в Вашингтоне.

В небе еще виднелись отблески заката, когда Таггарт и Бойл вышли на улицу. Резкая перемена обстановки слегка шокировала их – сумрачный бар невольно нагонял чувство, что и весь город погружен в непроглядную темень.

Огромное здание тянулось к небу, возвышаясь над ними, прямое и острое, как занесенный над головой меч. Вдалеке наверху зависло табло гигантского календаря.

На улице было прохладно; Таггарт нервно, раздраженным жестом поднял воротник и застегнул пуговицы пальто. Он не собирался возвращаться вечером на службу, но пришлось. Ему нужно было переговорить с сестрой.

– ...впереди у нас трудное дело, Джим, – говорил Бойл, – трудное дело, в котором так много опасностей и осложнений, в котором так много поставлено на карту...

– Все зависит от знакомства с теми, от кого все зависит. Осталось только выяснить, от кого именно все зависит, – медленно произнес Таггарт.

\*\*\*

Дэгни Таггарт было девять лет, когда она решила, что когда-нибудь будет управлять «Таггарт трансконтинентал». В тот день она стояла посреди железнодорожного полотна, глядя на две ровные линии стальных рельсов, которые, устремившись вперед, сливались где-то вдали в

одну точку. Дорога прорезала лес и совсем не гармонировала с окружающими ее вековыми деревьями, ветви которых опускались на зеленые шапки кустарников и росшие то тут, то там полевые цветы. Глядя на нее, Дэгни испытывала гордую радость. Стальные рельсы блестели на солнце, а черные шпалы напоминали ступени лестницы, по которым ей предстояло подняться.

Ее решение не было внезапным – в словах запечатлелось то, что она знала давным-давно. С молчаливого согласия, словно связанные клятвой, давать которую не было никакой необходимости, она и Эдди посвятили себя железной дороге с детства, едва начав что-то понимать в окружающем мире.

Она испытывала полное безразличие к миру, непосредственно окружавшему ее, – и к взрослым, и к детям. Она воспринимала то, что ей пришлось оказаться в окружении тупых, серых людей, как некое печальное недоразумение, которое надо перетерпеть. Она замечала вокруг проблески иного мира и знала, что он существует, мир, в котором строились поезда и возводились мосты, мир, который создал телеграфную связь и семафоры, мигающие в ночной темноте зелеными и красными огнями.

Дэгни никогда не задумывалась, почему она так любит железную дорогу, – она знала, что это чувство невозможно с чем-то сравнить или объяснить. Она испытывала подобное в школе на уроках математики. Это был единственный предмет, который ей действительно нравился. Решая задачи, она ощущала необыкновенное волнение, дерзкое чувство восторга от того, что приняла брошенный вызов и без труда победила, и страстное желание и решимость идти дальше, справиться с очередным, куда более трудным испытанием. Хотя математика давалась ей очень легко, она испытывала растущее чувство уважения к этой точной, предельно рациональной науке. Она часто думала: «Как хорошо, что люди дошли до этого, и как хорошо, что я в этом сильна». Два чувства росли и крепили в ней: искреннее восхищение этой царицей наук и радость от осознания собственных способностей. То же самое она ощущала по отношению к железной дороге: преклонение перед гением человеческого разума, благодаря которому это стало возможным, но преклонение со скрытой улыбкой, словно она хотела сказать, что знает, как сделать железную дорогу еще лучше, и когда-нибудь сделает. Она смиренно бродила вокруг железнодорожного полотна и паровозных депо, но в этом смирении чувствовался оттенок гордости и величия – величия, которого ей предстояло добиться собственным трудом.

С детства она постоянно слышала в свой адрес две фразы. «Ты невыносимо заносчива», – часто говорили ей, хотя Дэгни никогда не пыталась доказать, что она умнее других, и «Ты эгоистична», – хотя, когда она спрашивала, что это значит, ей ничего не отвечали. Она смотрела на взрослых, удивляясь, как они могут предполагать, что она почувствует вину, если сами обвинения не сформулированы.

Ей было двенадцать лет, когда она сказала Эдди Виллерсу, что будет управлять железной дорогой, когда вырастет. В пятнадцать лет она впервые задумалась над тем, женщины железными дорогами не управляют и что кое-кому это может не понравиться. Ну и черт с ним, подумала она и больше не переживала по этому поводу.

Ей было шестнадцать лет, когда она начала работать в «Таггарт трансконтинентал». Ее отец ничего не имел против, это лишь несколько позабавило и удивило его. Сначала она работала ночным диспетчером на небольшой загородной станции. Несколько лет она работала по ночам, а днем училась в машиностроительном колледже.

Джеймс Таггарт, которому был двадцать один год, начал карьеру одновременно с ней – в отделе рекламы.

Дэгни быстро продвигалась по служебной лестнице «Таггарт трансконтинентал». Она занимала одну ответственную должность за другой, потому что, кроме нее, занять их было некому. Она заметила, что талантливых работников в компании немного и с каждым годом

становится все меньше и меньше. Ее непосредственные начальники, от которых зависело принятие окончательных решений, всеми способами избегали ответственности; она же просто отдавала распоряжения, и распоряжения эти выполнялись. И на каждой ступеньке своего продвижения она вела всю реальную работу задолго до того, как получала соответствующую должность. Она словно переходила из одной пустой комнаты в другую. Никто не препятствовал ей, но никто и не одобрял ее продвижения.

Ее отец, казалось, был удивлен и в то же время гордился ею, но он ничего не говорил, и она замечала на его лице выражение грусти, когда он смотрел на нее. Он умер, когда ей было двадцать девять лет. «Всегда найдется Таггарт, способный управлять компанией» – это были последние слова, которые он сказал ей. И при этом как-то странно посмотрел на нее. Взгляд выражал и поздравление, и сочувствие.

Контрольный пакет акций перешел к Джеймсу Таггарту. В тридцать четыре года он стал президентом компании. Дэгни предвидела, что совет директоров выберет именно его, но так и не смогла понять, почему они сделали это так охотно. Они говорили что-то о традициях, о том, что президентом компании всегда был старший из сыновей Таггартов. Казалось, выбирая Таггарта президентом компании, они руководствовались тем же чувством, которое заставляло их сворачивать, если дорогу им перебежала черная кошка, – страхом. Они говорили о его особом даре «создавать железным дорогам солидную репутацию», о благосклонности к нему прессы, о его «связях в Вашингтоне». Он был необычайно искусен в снискании благосклонности у законодателей.

Дэгни ничего толком не знала о том, что называли связями в Вашингтоне и что эти связи могли означать. Но похоже, это было необходимо, поэтому она выбросила это из головы и не возвращалась больше к этому вопросу, полагая, что в мире существует множество различных работ, которые малоприятны, но тем не менее необходимы, такие, к примеру, как очистка сточных канав. Кто-то же должен этим заниматься, а Джиму, похоже, это нравилось.

Она никогда не стремилась к президентскому креслу; отдел грузовых и пассажирских перевозок был ее единственной заботой, больше ее ничто не волновало. Однажды, когда она выехала с очередной проверкой на линию, старые работники «Таггарт трансконтинентал», которые терпеть не могли Джима, сказали ей: «Всегда найдется Таггарт, способный управлять компанией». При этом она заметила на их лицах то же выражение, которое видела на лице отца незадолго до смерти. Она была уверена, что Джим не настолько умен, чтобы причинить большой вред компании, и что она всегда сможет выправить положение, что бы он ни натворил.

Конец ознакомительного отрывка книги

[Скачать полный вариант книги](#)